



*Книга издана при поддержке
Комиссии по научному планированию ЕУСПб*

КОНСТРУИРУЯ «СОВЕТСКОЕ»?

**Политическое сознание,
повседневные практики,
новые идентичности**

Материалы тринадцатой международной конференции
молодых ученых
26–27 апреля 2019 года, Санкт-Петербург

УДК 321.74
ББК 66.1(2)61
К65

Составители и редакторы: *М. Газимзянов, Д. Ганзенко,
Е. Жданкова, Е. Красильникова, О. Майстат, Д. Наволоцкая,
Д. Свирина, Д. Тейлор, Д. Фетисова*

К65 **Конструируя «советское»?** Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности : материалы тринадцатой международной конференции молодых ученых (26–27 апреля 2019 года, Санкт-Петербург). — СПб. : Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. — 136 с.

ISBN 978-5-94380-280-5

Настоящее издание является сборником материалов тринадцатой международной конференции «Конструируя “советское”?», состоявшейся 26–27 апреля 2019 года в Европейском университете в Санкт-Петербурге. В конференции приняли участие молодые исследователи из Москвы, Перми, Санкт-Петербурга и Томска, а также из Кана, Мадисона, Таллина, Тарту, Парижа, Санта-Круза. В фокусе внимания авторов статей — советское кино и гендерные вопросы, становление советской литературы, подходы к воспитанию в СССР, политика памяти, анализ блокадных источников, советизация пространств. В докладах были использованы разнообразные письменные и визуальные источники, с помощью которых авторы предложили свое понимание феномена «советского».

УДК 321.74
ББК 66.1(2)61

ISBN 978-5-94380-280-5

© Авторы, 2019
© Европейский университет
в Санкт-Петербурге, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Иван Атапин</i> ДОМА-КОММУНЫ ДЛЯ «ГОРОДА УГЛЕКОПОВ»: ИДЕЯ ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ БЫТА В ПРОЕКТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА ТЫРГАН	7
<i>Екатерина Воронова</i> ВОСПРИЯТИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ОТЦОВ И МОДЕЛЕЙ ОТЦОВСТВА В 1950–60-Х ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «СОВЕТСКИЙ ЭКРАН»)	14
<i>Гульназ Галеева</i> «ТАКИХ ДИВИЗИЙ БЫЛО МНОГО, А БАШКИРСКАЯ БЫЛА ОДНА»: БАШКИРСКИЕ КАВАЛЕРИСТЫ И ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В 1960-Е ГГ.	21
<i>Сара Грушица / Sarah Gruszka</i> КАК ПИСАТЬ «Я» В ЭПОХУ «МЫ»? ПОИСКИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДОПУСТИМОГО ДНЕВНИКА ВО ВРЕМЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ (1941–1944 ГГ.)	28
<i>Альбина Заверткина</i> АВТОБИОГРАФИЯ МИСТИКА РОВНЕРА КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЩЕНИЯ	36
<i>Лийс Йыхвик / Liis Jõhvik</i> REEL LIFE: MEMORY AND GENDER IN SOVIET HOME MOVIES AND AMATEUR FILMS—A CASE OF ESTONIAN TV SERIES “8 MM LIFE”	43
<i>Мадина Калашиникова</i> СОВЕТСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 1960–80-Х ГГ. КАК ФОРМА КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАМОК ПАМЯТИ	49
<i>Екатерина Кондакова</i> СОВЕТИЗАЦИЯ ДЕРЕВНИ В 1920–30-Е ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВ К. Ф. ИЗМАЙЛОВА)	55
<i>Юлия Лень / Yuliya Len</i> DESTRUCTION OF AN OLD JEWISH CEMETERY OF BERDYCHYV (UKRAINE) IN 1929–1930 IN THE CONTEXT OF THE SOVIET NATIONAL AND RELIGIOUS POLICIES	62

<i>Анастасия Павловская</i> «ВТОРАЯ БЛОКАДА»: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА О ГОЛОДЕ 1919–1920 ГГ. В ПЕТРОГРАДЕ	68
<i>Александра Пахомова</i> «ПРЕСОВЕТСКИЙ» ПОЭТ: ПЕТРОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА ПОЭТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СТАТУСА «ПОЭТА» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ.	74
<i>Евгения Платонова</i> ГРАНИЦЫ МУЖСКОГО В МОДНОМ ДИСКУРСЕ ЛЕНИНГРАДА В ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ	81
<i>Тамара Полякова / Tamara Polyakova</i> «МЫ ДЛЯ НИХ КАК ЧАРОДЕИ». МИКРОИСТОРИЯ БРИТАНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕВЕРЕ РОССИИ	87
<i>Степан Попов</i> ПОЛИТИКА ДЕЙКСИСА: К ОПИСАНИЮ ПРАГМАТИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА	94
<i>Наталья Пученкина / Nataliya Puchenkina</i> «НЕ ЖЕЛАЯ РАЗБАЗАРИВАТЬ НАШИ ШЕДЕВРЫ»: К ВОПРОСУ О СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ КИНОЭКСПОРТА В 1920–30-Е ГГ. НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОКС, СОВКИНО И ИНТОРГКИНО	101
<i>Андрей Ткаченко / Andrei Tcacenco</i> COLLECTIVISM, MORALITY, AND LATE SOCIALIST SOVIET CHILDHOOD: 1960–1984	108
<i>Татьяна Ускова</i> ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НОСТАЛЬГИЯ ПО СОВЕТСКОМУ? СЛУЧАЙ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ О ЧЕРНОБЫЛЕ	115
<i>Наталья Фаликова</i> ПРОЛЕТАРИЗАЦИЯ И САКРАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТРУДА В РИТОРИКЕ «СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЕВ»	122
<i>Ольга Юдина</i> ДВОЙНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ ДАВИДА СИКЕЙРОСА И ИОСИФА ГРИГУЛЕВИЧА: РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕКСИКАНСКОГО ИСКУССТВА В СССР В 1960–80-Х ГГ.	129

Иван Атапин

Томский государственный университет
факультет исторических и политических наук
студент 4 курса
ivatapin@gmail.com

ДОМА-КОММУНЫ ДЛЯ «ГОРОДА УГЛЕКОПОВ»: ИДЕЯ ОБОБЩЕСТВЛЕНИЯ БЫТА В ПРОЕКТЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ГОРОДА ТЫРГАН

Среди различных аспектов истории советского государства особую актуальность имеют исследования, связанные с жилищной политикой, в том числе с социально-архитектурными экспериментами 1920-х — начала 1930-х гг. Эти исследования синтезируют наработки не только исторической науки, но и таких дисциплин, как культурология, искусствоведение, социальная антропология. Историк Н. Б. Лебина отмечает, что наиболее эффективной методикой изучения «жилищного вопроса» является микроисторический подход¹, позволяющий восполнить пробелы более масштабных макроисторических гипотез. Этот подход, на наш взгляд, учитывает «нелинейность» и многообразность явлений, связанных с советской жилищной политикой. В данной работе предпринимается попытка рассмотреть такой малоизученный сюжет, как отражение идеи обобществления быта в проекте социалистического города Тырган (ныне — район г. Прокопьевска). При написании использовались материалы отраслевых изданий и западносибирской периодической печати, которые содержат достаточный, но слабо изученный массив информации, а также отдельные архивные и музейные источники.

В общих чертах под обобществлением быта в 1920-х — начале 1930-х гг. понимались раскрепощение женщины и ее освобождение от ведения домашнего хозяйства, общественное воспитание детей, создание благоприятных условий для гармоничного развития человека. Всё это не мыслилось без установки на коллективный быт. Новым жизненным пространством, воплотившим в себе данные принципы, должны были стать дома-коммуны. В области

¹ *Лебина Н. Б.* Советская повседневность: нормы и аномалии. 2-е изд. М., 2016. С. 68.

градостроительства обобществление быта наиболее последовательно проводилось в проектах социалистических городов (соцгородов) — поселений нового типа при крупных промышленных предприятиях. В Западной Сибири возведение соцгородов развернулось на рубеже 1920–30-х гг. и было во многом обусловлено идеей создания Урало-Кузнецкого комбината — промышленного комплекса на базе уральских массивов железных руд и каменноугольных запасов Кузнецкого бассейна.

Один из соцгородов должен был разместиться в южной части Кузбасса, близ Прокопьевского рудника, где намечалось строительство крупных шахт. Однако многочисленные горняцкие поселки рудника находились на подработанных территориях, что вызвало необходимость поиска подходящего места для нового города. Таким местом стало неосвоенное и безугольное Тырганское плато, расположенное в 6,5 км к западу от т. н. «старого Прокопьевска». Отметим, что история соцгородов Кузбасса достаточно подробно разработана исследователями². Парадоксально, но при этом история Тыргана почти не рассматривалась в литературе и не становилась предметом специальных работ.

Тырган, прозванный в периодической печати «городом углекопов», и город рабочих нового металлургического завода — будущий Новокузнецк — были провозглашены Сибирским крайисполкомом единственными в Кузбассе городами «последовательного социалистического типа»³. В других крупных населенных пунктах региона — Щегловске (Кемерово), Ленинске, Анжеро-Судженске — создавались только «условия к переходу» к полному обобществлению быта⁴. Кроме того, согласно пятилетнему плану строительства городов Кузбасса с 1930/31 по 1934/35 гг. сумма капиталовложений в Прокопьевск (включая Тырган) была даже большей, чем на постройку Новокузнецка (149 и 104 млн руб. соответственно), хотя

² См., напр.: *Невзгодин И. В.* Магнитогорск и Новокузнецк: архитектурно-градостроительные поиски концепции соцгорода // Социалистический город и социокультурные аспекты урбанизации. Магнитогорск, 2010. С. 331–337; *Коньшева Е. В.* Европейские архитекторы в советском градостроительстве эпохи первых пятилеток. Документы и материалы. М., 2017; и др.

³ *Тихомиров Б.* Строительство городов Кузбасса // Коммунальное дело. 1930. № 3. С. 81–82.

⁴ Там же. С. 82.

оба города возводились практически «с нуля»⁵. Можно говорить о том, что строительству Тыргана первоначально уделялось особое внимание.

Известно, что ключевую роль в проектировании соцгородов Западной Сибири играли преимущественно приглашенные специалисты (как в Левобережном Новосибирске или Новокузнецке). В случае с Тырганом ситуация была иной. Главный застройщик Прокопьевского рудника — трест «Сибуголь» — не стал заказывать проект планировки столичным архитекторам или проектным институтам, а поручил эту работу собственному проектному отделу в Новосибирске. Заведующий проектным отделом «Сибугля», гражданский инженер И. А. Лалевич, был известен как представитель конструктивизма — авангардного направления советской архитектуры. Он также активно отстаивал идею обобществления быта. «Подлинное социалистическое строительство», по его мнению, заключалось в возведении домов-коммун⁶. Заинтересованность Лалевича в решении жилищного вопроса выразилась и в его участии в работе Сибирской краевой планировочной комиссии, созданной для рассмотрения проектов сибирских соцгородов⁷.

Разработка планировки Тыргана под руководством И. А. Лалевича началась в декабре 1929 г.⁸ В проекте были совмещены радиальная система улиц и прямоугольная сетка кварталов, на основных магистралях предусматривалась разбивка бульваров. В этом чувствовался отголосок идеи «города-сада», получившей популярность в России в 1910–20-е гг., но на этих формальных деталях сходство с городом-садом заканчивалось. Тырган должен был застраиваться не индивидуальными особняками, а принципиально новым типом жилища — домами-коммунами. Обозначилась проблема адаптации их будущих жителей к новой социально-бытовой среде. Предполагалось, что в обсуждении проекта будут участвовать не только архитекторы, инженеры и другие специалисты, но и сами шахтеры. «Необходимо соответствующим образом

⁵ Там же.

⁶ *Лалевич И. А.* Построим социалистические города! // Советская Сибирь. 1929. 22 дек. С. 2.

⁷ Первый пленум планировочной комиссии // Советская Сибирь. 1930. 30 янв. С. 5.

⁸ Начинается постройка социалистического города // Советская Сибирь. 1930. 9 мая. С. 4.

воспитать будущего жителя дома-коммуны...» — писала газета «Советская Сибирь»⁹.

Стоит отметить, что «само понятие “дом-коммуна” толковалось по-разному»¹⁰, поэтому не будет лишним обратить внимание на реализацию этого понятия в соцгороде Тырган. Для застройки был выбран типовой проект дома-коммуны, выполненный в том же проектно-отделе «Сибугля». Сохранилась фотокопия перспективы здания¹¹, которая дает представление о его внешнем облике. Дом-коммуна имеет зигзагообразную форму плана и состоит из двух трехэтажных корпусов, примыкающих торцами к центральному объему. Архитектура здания выдержана в духе конструктивизма: отсутствие декора, широкие окна, вертикальное остекление лестничных клеток, открытая терраса на крыше центрального объема.

Что же понималось под обобществлением быта в проекте дома-коммуны «Сибугля»? Известны как минимум два описания внутренней организации этого здания. Сообщалось, что «основным типом жилища должен стать дом-коммуна, допускающий максимальное обобществление быта жильцов. <...> Дом рассчитан на 500 чел. и имеет две жилых секции и расположенную в центре их секцию обобщественного пользования со столовой, детскими яслями и детским садом, клубными комнатами, медицинским изолятором и др. помещениями, обслуживающими коллективные потребности»¹². Похожее описание, которое отличается только количеством жильцов, оставил писатель М. А. Кравков, посетивший Тырган незадолго до начала строительства соцгорода: «...к концу сезона здесь положено выстроить девять домов-коммун, девять каменных гигантов, которые должны вместить по 750 человек каждый. Это будут сложные комбинаты помещений для отдыха и для сна, рабочих кабинетов, отделений физкультуры, столовых, специальных детских секторов и т. д. Механизированные, снабженные всеми удобствами дома эти будут началом будущих городов, которыми застроится Кузбасс...»¹³

Таким образом, дома-коммуны Тыргана имели оригинальное решение, в основе которого лежал принцип обособления жилых кор-

⁹ Начинается постройка социалистического города. С. 4.

¹⁰ *Лебина Н. Б.* Советская повседневность: нормы и аномалии. С. 78.

¹¹ Музей истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина НГУАДИ. Фонд городов Сибири. Оп. 13. Л. 141. Фото 3.

¹² *Тихомиров Б.* Строительство городов Кузбасса. С. 83.

¹³ *Кравков М. А.* Кузбасс // Сибирские огни. 1930. № 5. С. 94.

пусов и «секции обобществленного пользования» (в ней должен был находиться набор помещений общественно-бытового обслуживания). Возможно, вместо традиционных квартир предусматривались отдельные комнаты, спланированные по коридорной системе. Укрупнение общественно-бытовых помещений достигалось, вероятнее всего, за счет уменьшения площадей жилых комнат, функция которых сводилась к упомянутым выше отдыху и сну. Это также позволяло разместить в доме-коммуне сравнительно большое число жильцов.

Проект дома-коммуны «Сибугля» является ярким примером этого типа массового жилища и не имеет прямых аналогов ни в городах Кузбасса, ни в других городах Западной Сибири. Оценить амбициозность установки на максимальное обобществление быта позволяет сравнение с Новокузнецком: там к строительству домов-коммун так и не приступили, начав весной 1930 г. возведение типовых четырехэтажных зданий с традиционными квартирами¹⁴.

29 мая 1930 г. состоялась торжественная закладка первого дома-коммуны соцгорода Тьрган. Сам город был рассчитан на 200 тыс. жителей, завершение его строительства планировалось к концу первой пятилетки¹⁵. Первый камень в фундамент домов-коммун, как писала газета «Молодой рабочий», «лег грузом на крышку гроба капитализму»¹⁶. Вероятно, и архитекторы, и строители, и журналисты не обратили внимание на то, что в тот же день в газете «Правда» было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О работе по перестройке быта», принятое 16 мая. Оно резко осудило идею «немедленного и полного обобществления всех сторон быта» как «левацкое» и утопическое начинание¹⁷.

Осенью 1930 г. Госплан и Совет труда и обороны утвердили для соцгородов Магнитогорска и Новокузнецка следующие типы жилища: 75 % жилого фонда — дома с индивидуальными квартирами,

¹⁴ *Коньшова Е. В.* Европейские архитекторы в советском градостроительстве эпохи первых пятилеток. С. 68.

¹⁵ Заложен социалистический город // *Молодой рабочий*. 1930. 29 мая. С. 2.

¹⁶ *Уральский Б.* Праздник на Тьргане // *Молодой рабочий*. 1930. 2 июня. С. 4.

¹⁷ См.: О работе по перестройке быта // КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1986). М., 1984. Т. 5. С. 118–119.

12 % — общежития, и всего 13 % — дома-коммуны. Здесь наглядно отразился отказ от идеи полного обобществления быта. Такая же схема была затем принята для Кемерово¹⁸ и других соцгородов Кузбасса. На практике строительство домов-коммун в Западной Сибири и вовсе прекратилось. Наконец, в феврале 1931 г. проект планировки Тыргана, выполненный под руководством И. А. Лалевича, был раскритикован при обсуждении в Научно-техническом совете Главного управления коммунального хозяйства¹⁹. Работу над проектом поручили сначала немецкому архитектору Э. Маю, а затем — московскому проектному институту «Стандартгорпроект», что означало кардинальное изменение типологии жилых зданий соцгорода.

Однако возведение домов-коммун было уже начато. Неудивительно, что оно сопровождалось многочисленными проблемами. Летом 1930 г. отмечались задержка рабочих чертежей, нехватка стройматериалов, отсутствие механизации²⁰. Бригада Всесоюзного центрального совета профсоюзов, посетившая Тырган весной 1932 г., выявила ряд нарушений при строительстве: плохое качество кирпичной кладки и расхождение вертикальных швов стен, неравномерную осадку фундаментов, гниение полов и балок²¹. Первоначальный проект домов-коммун был заметно упрощен и адаптирован к местным климатическим условиям, лишившись таких эффектных конструктивистских элементов, как, например, открытая терраса на крыше.

К середине 1930-х гг. на Тыргане достроили четыре дома-коммуны. Один из них был передан горному техникуму и некоторое время использовался как учебный корпус и общежитие. В части этого здания (ул. Ноградская, 9) до сих пор сохраняется коридорная планировка с отдельными комнатами, которая дает представление о первоначальном замысле архитекторов. Остальные здания в настоящий момент имеют традиционную планировку с индивидуальными квартирами, в центральном объеме (где должен был разместиться «обоб-

¹⁸ Проект планировки г. Щегловск (1930–1931 гг.) // Государственный архив Кемеровской области. Ф. Р-6. Оп. 4. Д. 1. Л. 71.

¹⁹ *Духанов С. С.* Ведомственные и региональные особенности формирования городов в процессе индустриализации страны (на примере Западной Сибири первой пятилетки) // Советское градостроительство. 1917–1941. М., 2018. С. 441.

²⁰ *Целебенко И.* Строительство города «Тырган» в Прокопьевске — беспризорно // Советская Сибирь. 1930. 14 июля. С. 5.

²¹ Жилстроительство под угрозой // Трибуна ударника. 1932. 5 мая. С. 2.

щественный сектор») также находятся жилые помещения. Всё это, вероятно, стало результатом многочисленных перепланировок.

Идея обобществления быта вошла в историю советской архитектуры как противоречивое явление, свидетельство «левацких загибов» и попыток насаждения «казарменного быта». Но уже в конце 1980-х гг. отечественные историки признавали, что отказ от организации коллективных форм досуга и питания, обобществления домашнего труда был «определённым отступлением с уже достигнутых рубежей»²². Нужно помнить и о том, что в начале 1930-х гг. рабочие Прокопьевского рудника имели, по сути, лишь одну альтернативу домам-коммунам — проживание в неблагоустроенных помещениях: в избах местных крестьян или бараках, а то и в землянках или полуземлянках. Массовое жилищное строительство на Тыргане полноценно развернулось только в послевоенный период.

По мнению М. Г. Мееровича, «индустриальные города-новостройки 1930-х годов являют поразительное сходство судеб, конфигурации планировки и типологии застройки. Социалистические города, возникшие в Сибири практически на пустом месте в ходе развертывания советской индустриализации, похожи как братья-близнецы — у них одинаковая история, одинаковые признаки, одинаковые проблемы...»²³ Столь обобщающее утверждение, на наш взгляд, является справедливым лишь отчасти. Микроисторический подход позволил выяснить, что проектирование и строительство соцгородов было более многоаспектным и сложным процессом. Об этом свидетельствует «казус» Тыргана, где прервался, едва успев начаться, амбициозный эксперимент, направленный на полное обобществление быта жителей города. Рассмотренные материалы позволяют предположить, что проект Тыргана, выполненный под руководством И. А. Лалевича, стал наиболее радикальным проявлением идеи обобществления быта на территории Кузбасса.

²² *Исаев В. И.* Быт рабочих Сибири. 1926–1937 гг. Новосибирск, 1988. С. 93.

²³ *Меерович М. Г.* Идентичность советского города: от города-сада англичанина Э. Говарда — к соцгороду немца Э. Мая. Щегловск — Кемерово, Сталинск — Новокузнецк, Новониколаевск — Новосибирск // Проект Байкал. 2014. № 42. С. 95.

Екатерина Воронова

Институт Российской истории РАН (Москва)
аспирантка 2 курса
Kathy-voronova@yandex.ru

ВОСПРИЯТИЕ КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ ОТЦОВ И МОДЕЛЕЙ ОТЦОВСТВА В 1950–60-Х ГГ. (ПО МАТЕРИАЛАМ ЖУРНАЛА «СОВЕТСКИЙ ЭКРАН»)

В культурном и общественном дискурсе сталинского времени мужчины редко рассматривались как потенциальный семьянин и отец. Однако в период 1950–60-х гг. интерес к человеку проявляется в смещении фокуса с его внешних поступков и общественной деятельности к его внутреннему миру и личной жизни¹.

В советских кинофильмах периода оттепели затрагиваются темы родительства кровного и родительства фактического, проблемы неполных семей и приемных детей, а также подробно рассматриваются родительские практики мужчин. Это было несвойственно представлениям сталинского периода о «Большой семье»², в которой идеологически закрепленной фигурой воспитателя является советское государство, в то время как родителям (преимущественно матерям) вменялась детородная функция, которая, впрочем, не должна была отвлекать от производственных обязанностей. Исследователи отмечают, что для оттепельного кинематографа характерен символический отказ от доминирующего образа государства, и всего с ним связанного, с чем ассоциировались «грехи отцов», т. е. сталинизма³. Отсюда — большое количество фильмов о детях и подростках, как предназначенных для юных зрителей, так и для взрослой аудитории — новое поколение советских граждан символизировало надежды оттепели. Соответственно, наиболее яркие и обсуждаемые фильмы эпохи от-

¹ Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе «оттепели» / пер. с англ. Л. Г. Семенов и М. А. Шерешевской. СПб., 2007. С. 202.

² Kelly C. Children's World: Growing Up in Russia, 1890–1991. New Haven, 2007. P. 105.

³ Dumancic M. Rescripting Stalinist Masculinity: Contesting the Male Ideal in Soviet Film and Society, 1953–1968. Chapel Hill, 2010. P. 98.

тепели, где образ мужчины раскрывается в контексте его взаимоотношений с детьми, посвящены отчимам, отцам приемных детей. Это симптоматично, учитывая тот факт, что начало эпохе оттепели ознаменовала символическая смерть «Отца народов» — Сталина.

В историографии, посвященной оттепельному кинематографу, отцовство обсуждалось в контексте кинематографической маскулинности, поскольку в это же время происходит перестройка гендерного канона. И хотя предпринимались отдельные попытки рассмотрения отцовства как особой сферы жизни киногероя, но анализировались преимущественно сами фильмы. В центре внимания данной работы находятся перцептивные источники, а именно публицистика журнала «Советский экран» за 1950–60-е гг., в которой так или иначе рассматриваются образы и модели отцовства. Стоит отметить, что рассматриваемую публицистику «Советского экрана» можно условно разделить на две части: это статьи, написанные людьми, имеющими отношение к кинематографу (режиссеры, актеры, профессиональные кинокритики и журналисты), и заметки, опубликованные в рубрике «Рецензирует зритель», т. е. написанные обычными зрителями. Таким образом, имеет смысл сравнить эти разные типы восприятия, а также сопоставить идейные тенденции советского кинематографа с тем, как эти идеи воспринимались и осмыслялись читателями журнала.

Данное исследование сфокусировано непосредственно на образах отцов в советском кинематографе и их восприятии, в центре внимания находятся не сами фильмы, а образы отцов в них. Поэтому отдельного рассмотрения требуют критерии, по которым современники определяли те или иные практики мужчин как родительские. Можно условно выделить следующие категории кинематографических отцов: отчимы (фильмы «Сережа», «Большая семья», «День, когда исполняется 30 лет»), отцы-усыновители («Два Федора», «Судьба человека», «Евдокия», «Родная кровь» «Дети Дон Кихота»), «отрицательные» отцы («Первое свидание», «Путешественник с багажом»).

В данной классификации не отображены «гегемонные отцы», т. е. позитивные образы родных отцов, которые в кинематографе того времени, безусловно, присутствовали («Дом, в котором я живу», «Застава Ильича»), однако были лишь эпизодическими явлениями и практически не нашли отражения в изучаемой публицистике.

Стоит обратить внимание на две тенденции, характерные для гендерного порядка периода 1950–60-х гг., которые нашли свое отражение в кинематографе: это, с одной стороны, «раскрепощение отцов», т. е. разнообразие форм, практик отцовства, а с другой —

возвращение к традиционному отцовству. Существование этих противоречащих тенденций можно объяснить переосмыслением эпохи 1930–40-х гг., а также проникновением в советский дискурс идей о «новом» отцовстве⁴.

Статьи, посвященные фильмам, где присутствует отцовская фигура, аксиоматично утверждают эссенциальную необходимость отца в жизни ребенка. Так, статья, посвященная фильму Ильи Фрэнца «Путешественник с багажом» (1966), начинается со слов: «Каждому ребенку нужен отец»⁵. А вот что значит в аннотации кукольного фильма «Лягушонок ищет папу» (1964): «Он (лягушонок), как и все дети земли, хочет иметь собственного папу. Но, оказывается, это не так просто. Потому что быть папой трудно: нужно прыгать, плавать с лягушонком и вообще проявлять всяческую заботу. А кто решится на это добровольно? Вот и бродит грустный лягушонок от одного обитателя болота к другому и пытается уговорить их попробовать усыновить его, лягушонка»⁶. Несмотря на некоторую иронию автора, отцовство представляется как нелегкое бремя, требующее больших усилий от взрослого мужчины, и не каждый готов добровольно взять на себя эти обязательства. С другой стороны, отцовство представляется не как данность или формальность, возникает смысловое наполнение отцовских практик и их важность для ребенка.

Самым известным и любимым оттепельным кинематографическим отцом (согласно ежегодному голосованию читателей журнала) стал Сергей Бондарчук, воплотивший персонажей в фильмах «Судьба человека» (1959) и «Сережа» (1960).

В «Советском экране» подчеркивалась преемственность этих ролей Бондарчука⁷, однако «Судьба человека» презентовала поистине героического мужчину, монументальную отеческую фигуру времен великой войны, тогда как действие «Сережи» происходит уже в послевоенное время и повествует об обычных людях. И хотя в публицистических статьях «Советский экран» акцентировал внимание зрителей на факте «усыновления» Андреем Соколовым сироты⁸, молодые

⁴ Чернова Ж. В. Семейная политика в западноевропейских странах: модели отцовства // Журнал социологии и социальной антропологии. 2012. Т. 15, № 1. С. 103–122.

⁵ Путешественник с багажом // Советский экран. 1964. № 9. С. 11.

⁶ Можно ли найти папу? // Советский экран. 1964. № 7. С. 20.

⁷ Бахметьева С. Сережа // Советский экран. 1960. № 6. С. 6.

⁸ Там же.

зрители, например, студенты Оренбургского сельхозинститута, увидели в главном герое отцовскую фигуру для самих себя: «Мы были тогда примерно такими же, как Ваня, который нашел в Андрее Соколове своего второго отца. Но этот фильм нам дорог тем, что правдиво передает подвиг наших отцов и матерей»⁹.

Фильм «Сережа», вышедший сразу после «Судьбы человека», получил значительное количество восторженных отзывов в свой адрес как со стороны публицистов, так и простых зрителей, хотя нельзя не упомянуть, что сам Бондарчук на тот момент входил в состав редколлегии журнала, и «Советский экран» печатал преимущественно хвалебные отзывы на его фильмы. Тем не менее сюжет картины, а также образы героев нашли отклик в сердцах зрителей эпохи и тем, что взаимоотношения ребенка и взрослого строились на взаимоуважении и некотором равенстве сторон — Коростылев разговаривает с шестилетним Сережей серьезно и на равных, и эмоциональность обоих героев резко контрастирует с холодной рациональностью матери.

В отличие от «Сережи» и «Судьбы человека», фильм Марлена Хуциева «Два Федора», вышедший парой лет раньше и использующий похожий сюжет о взрослом мужчине — неродном отце и его отношениях с приемным ребенком, подвергся нападкам на страницах «Советского экрана» преимущественно со стороны критиков и коллег режиссера. И если Соколов и Коростылев назывались «отцами», хоть и не везде (и никогда так не назывались в письмах зрителей), то главный герой Федор, взявший на себя обязательства защищать и кормить мальчика, в статьях, посвященных этому фильму, не называется «отцом». В самом фильме герои обращаются друг к другу по имени, и лишь иногда Федор-старший обращается к мальчику словами: «Ну что, брат?» Это не единичный случай позиционирования родительских равноправных отношений взрослого и ребенка как квазибратских. В оттепельном детективе «Дело Румянцева» (1965) мужчина, бывший детдомовец усыновляет мальчика-сироту, однако их отношения также лишены субординации, и они называют друг друга по имени.

Во всех фильмах, которые рассматривались выше, главными героями являются мужчины, они находятся в центре повествования, тогда как женские персонажи находятся на периферии, и, более того, их образы сконструированы таким образом, чтобы показать их

⁹ Коварский Н. Судьба человека // Советский экран. 1959. № 7. С. 2–3.

слабость как персонажей и подчеркнуть важность гомосоциальной коммуникации мужчин.

Фильм «День, когда исполняется 30 лет», вышедший на экраны в 1961 г., фокусируется на частной жизни женщины, однако экранному взаимодействию ребенка героини и отчима посвящено достаточно времени, чтобы понять, как они близки и как искренне Захар привязан к пасынку. Несмотря на это, в «Советском экране» был опубликован негативный отзыв публицистки И. Левшиной «Истина требует спора», в котором фильм критиковался за «поверхностность» и «отсутствие мыслей»¹⁰. Тем не менее, как отмечалось в той же статье, зрители в письмах в редакцию горячо выступают в защиту фильма и видят в отношениях Светланы и Захара некую идеальную модель семьи с очень самостоятельными и прогрессивными родителями, которые воспитают такого же талантливого и самостоятельного сына.

Позитивную модель нуклеарной советской семьи, в которой присутствует яркий образ сильного и заботливого отца, можно увидеть и в фильмах о семьях с приемными детьми. В контексте обсуждения фильма «Евдокия» (1961) в статье «Ясность души» возникает определение «истинного родителя» от публицистки Р. Зусевой: «Евдокия... была настоящей матерью ребенку: кормила его, лечила от болезней, смотрела, чтобы не баловался... Не приходит в голову, что есть в их отношениях с приемными детьми нечто гораздо более важное и патетическое... Дети... незаметно и органически усваивают нравственные принципы»¹¹. Как можно заметить, роль Евдокии как морального авторитета в семье оценивается автором статьи выше, чем непосредственное участие и забота Евдокии. Аналогично обстоит дело и с отзывами на «Детей Дон Кихота» (1965), в которых отмечается трансляция Бондаренко-старшим своим приемным детям «благородных» и «романтичных» стратегий поведения, его мировоззрения¹².

Среди отцов оттепельного кинематографа встречаются не только «положительные» отчиму и неродные отцы, но и родные «отрица-

¹⁰ Левшина И. Истина требует спора // Советский экран. 1964. № 2. С. 19.

¹¹ Зусева Р. Ясность души («Евдокия») // Советский экран. 1961. № 9. С. 6.

¹² Михайлова Т. Дон Кихот Ламанчский // Советский экран. 1965. № 7. С. 25.

тельные» отцы. Это отцы из «Первого свидания» и «Путешественника с багажом».

В «Первом свидании» (1960), помимо истории отношений героини Вали и ее мужа, рассказывается история Павла Смурова, мужа коллеги Вали. После смерти жены он приобщается к алкоголю, и его дети предоставлены сами себе, пока на помощь не приходит Валя.

В своих статьях «Советский экран» призывал зрителей сходить в кино на «Первое свидание», объясняя это небанальной подачей общественных проблем в фильме, где главный герой — «хороший, но сбившийся с пути человек»¹³. Однако среди читателей журнала разгорелась дискуссия о моральной подоплеке поведения героев фильма. Студент Московского медицинского института писал в редакцию: «Валя... непрестанно изменяет Алексею: и со студентами у нее не просто дружеские отношения, и заботится она не о детях Смурова, а об “отце-пьянице”, которого-де полюбила»¹⁴.

Более безнадежным отцом, чем Смуров, с точки зрения редакции «Советского экрана», был отец Севы из фильма Ильи Фрэза «Путешественник с багажом». Отец, покинувший семью много лет назад, оказался «вертопрахом и лгуном» при встрече с сыном, которого он не узнал. Как писал сам режиссер Илья Фрész, «во встрече Севы с отцом жалости оказался достоин не сын, а отец, который “обокрал” себя, лишившись радости иметь такого сына, как Сева»¹⁵.

Безответственные родные отцы и ответственные мужчины, воспитывающие неродных детей, являлись двумя крайностями в изображении кинематографического отцовства 1950–60-х гг. Читатели настаивали на отказе от дидактических образов и шаблонных ходов при изображении советской семьи («Сколько мы уже видели на экране отцов, которые мало внимания уделяют воспитанию ребенка... Мы снова встречаем знакомый треугольник: папу-директора завода, маму, директорскую дочь-белоручку, которая, конечно же, ищет легкой жизни, и в конце концов “переваривается” в рабочем котле»¹⁶). С другой стороны, один из немногочисленных позитивных образов отцов, базирующийся не столько на чувстве долга, сколько на пробуждении

¹³ Кремлев Г. Первое свидание // Советский экран. 1960. № 10. С. 10, 14.

¹⁴ Кремлев Г. Спорим о «Первом свидании» // Советский экран. 1959. № 22. С. 17.

¹⁵ Фрész И. Внимание — растет человек! // Советский экран. 1964. № 4. С. 13.

¹⁶ Саранчук А. С днем рождения // Советский экран. 1963. № 9. С. 14.

отцовских чувств у героя, вызывал восхищение у публицистов, однако не нашел какого-либо отклика у читателей журнала. Речь идет о герое фильма «Мне двадцать лет» («Застава Ильича», 1962), молодом отце Славке: «Николай и Сергей спорят о смысле жизни, а Славку волнует, почему так долго плакал сынишка, не заболел ли. Славкину бы доброту и озабоченность иным отцам, меньше появлялось бы дел о “трудных” подростках!»¹⁷

Таким образом, в оттепельном кинематографе, по сравнению с предшествующим периодом, образы отцовства отличаются вариативностью и отказом от строгих канонов — отцовские фигуры репрезентируют не только биологические отцы, но и отчимы и отцы приемных детей. Отцовские практики изображаются разнообразнее, функциональные роли отцов и матерей сближаются. Тем не менее восприимчивость зрителей к таким новшествам в изображении отцов в кино зачастую зависела от их личных симпатий к фильму или к актерам. Большинству зрителей было ближе изображение традиционного отцовства — с сильной фигурой отца, который если и не является главой семьи, то как минимум главенствует над сыном. С другой стороны, для публики, особенно молодых читателей «Советского экрана», характерен плюрализм мнений по отношению и к «новым отцам», и к существующему гендерному порядку, что было характерно для публицистики оттепельной эпохи с ее возможностью трансляции в периодической печати разнообразных мнений и оценок.

¹⁷ Варшавский Я. Очищение души // Советский экран. 1964. № 16. С. 18–19.

Гульназ Галеева

Европейский университет в Санкт-Петербурге
магистрантка 2 курса
ggaleeva@eu.spb.ru

**«ТАКИХ ДИВИЗИЙ БЫЛО МНОГО, А БАШКИРСКАЯ
БЫЛА ОДНА»: БАШКИРСКИЕ КАВАЛЕРИСТЫ
И ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В 1960-Е ГГ.**

«Мы воевали хорошо, фашистов победили. В то время не ссорились, а теперь друг друга ненавидим. Это ведь позор!»¹ — сетовал один из бывших кавалеристов Башкирской дивизии по поводу внутренних конфликтов среди ветеранов этой воинской части². Споров между ними действительно было много. С особой силой они разгорелись в 1966 г., когда к публикации готовилась книга, посвященная ее боевому пути. Одним из сенситивных моментов этого противостояния стало соотношение вопроса о национальной идентичности кавалеристов и большого советского мифа о войне. Цель данного текста — определить, как решался этот вопрос бывшими башкирскими конниками — основными акторами мемориализации национальной воинской части, как они видели свою роль в войне.

Вопрос связи мифа о войне с идентичностью населения национальных республик Советского Союза раскрывается в ряде работ. В некоторых из них память о войне рассматривается как миф, который был положен в основу концепции единой исторической

¹ Национальный архив Республики Башкортостан (далее — НА РБ). Ф. 10355. Оп. 1. Д. 45. Л. 56. Протокол собрания ветеранов 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии от 29.12.1966 (на рус. яз.).

² Башкирская кавалерийская дивизия — одна из национальных воинских частей Красной армии, которая была организована в ноябре 1941 г. С июня 1942 по февраль 1943 г. участвовала в боевых действиях. 23 февраля 1943 г. с большими потерями вышла из рейда в тыл врага, после которого была отправлена на переформирование. В том же году была преобразована в 16-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию под командованием генерала Г. Белова и фактически потеряла статус национальной части.

общности — советского народа³. Так, по мнению Чарльза Шоу, именно война позволила нерусским народам интегрироваться в советское общество⁴. Солдаты «коренных народов» Средней Азии, оказавшиеся на фронте без знания русского языка, к концу войны писали своим семьям письма на нем и подписывались русскими эквивалентами собственных имен. Его тезис близок к выводам Джонатана Брунштедта, по мнению которого миф о войне использовался для построения пансоветской наднациональной общности⁵. В послевоенное время и далее в брежневский период существовали политические силы, отстаивавшие позиции русского национализма, но, по мнению автора, доминирующим стал советский миф, предоставлявший нерусским народам возможность выйти за пределы своего национального сообщества.

На основе архивов непосредственно Башкирской АССР к подобному же выводу приходит Тимур Мухтаров, который утверждает, что в результате Второй мировой войны произошла ассимиляция башкир⁶. Автор обращает внимание на то, что ассимиляция происходила через освоение русской культуры. Воины, большинство которых в течение войны находились в частях «многонациональных по составу и русскоязычных по культуре», благодаря освоению русского языка и получению новых «культурных кодов» увеличили свои шансы на социальную мобильность. Они привезли с собой фронтовые песни на русском языке, небашкирские имена для своих детей, новые нормы для похоронных, свадебных и других обрядов. Демобилизован-

³ *Tumarkin N.* The Great Patriotic War as Myth and Memory // *European Review*. 2003. Vol. 11. P. 595–611; *Weiner A.* The Making of a Dominant Myth: the Second World War and the Construction of Political Identities within the Soviet Society // *Russian Review*. 1996. Vol. 55. P. 638–660.

⁴ *Shaw Ch.* Soldier's Letters to Inobatxon and O'g'ulxon: Gender and Nationality in the Birth of a Soviet Romantic Culture // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2016. Vol. 17, N 3. P. 517–552.

⁵ *Brunstedt J.* Building a Pan-soviet Past: the Soviet War Cult and the Turn Away from Ethnic Particularism // *The Soviet and Post-Soviet Review*. 2011. N 38. P. 149–171; *Brunstedt J.* The Soviet Myth of the Great Fatherland War and the Limits of Inclusionary Politics under Brezhnev: the Case of Chalmavist Literature // *Nationalities Papers*. 2013. Vol. 41, N 1. P. 146–165.

⁶ *Мухтаров Т.* Влияние Второй мировой войны на процесс ассимиляции башкирского народа // Советские нации и национальная политика в 1920–1950-е гг.: Материалы VI международной научной конференции. М., 2014. С. 474–477.

ные ветераны стали прививателями «русских советских культурных норм поведения» и ускорили процесс ассимиляции башкир⁷.

Однако специфической чертой башкирских кавалеристов являлось то, что существенную часть их боевого опыта составляла служба в национальной дивизии, где они находились практически в мононациональной среде башкир-земляков, общались между собой на привычном для них башкирском языке и выпускали свою башкирскую боевую газету. Как мы увидим позже, именно этот опыт станет для них решающим в вопросе о том, как должна быть написана история их воинской части.

Как утверждает М. Эдел, ветераны Великой Отечественной войны в Советском Союзе обладали особым статусом «заслуженности»⁸. Сущность этого статуса заключалась в том, что сами себя ветераны воспринимали в качестве специфичных членов общества — тех, кто имеет особые заслуги перед народом, государством, советской властью. Служба в действующей армии была завершена, но разделяемое ими чувство «заслуженности» объединяло их в новый класс. Это привело к стихийному возникновению по всей стране ветеранских объединений. Они видели цель своих организаций в лоббировании собственных интересов и до конца 1970-х гг. оставались практически вне контроля властных структур. Эти объединения могли возникать на уровне республик, городов или войсковых частей, как это произошло в случае ветеранов Башкирской дивизии.

В 1959 г. бывшие башкирские конники организовали Инициативную группу⁹. Наиболее активные члены этой группы по классификации, приводимой в книге М. Эдел, принадлежали к самому старшему поколению фронтовиков, родившихся до 1920-х гг.¹⁰ К моменту формирования дивизии в 1941 г. многие из них были представителями республиканской национальной элиты, которые и были мобилизованы в дивизию в силу того, что были надежными, лояльными к советской власти, и в то же время могли говорить с башкирами-солдатами на их языке. После войны они успешно справились

⁷ Там же. С. 474.

⁸ *Edele M. Soviet Veterans of the Second World War. A Popular Movement in an Authoritarian Society, 1941–1991.* Oxford; New York, 2014. P. 186.

⁹ Самый ранний документ Инициативной группы датирован 22.11.1962 г., однако в протоколах собрания группы есть информация о том, что она была создана в 1959 г.: НА РБ. Ф. 10355. Оп. 1. Д. 45 Л. 13–59.

¹⁰ *Edele M. Soviet Veterans.* P. 15.

с восстановлением своего положения в республике и представляли собой влиятельную группу.

Тесная вовлеченность ветеранов в партийные и властные структуры республики ставит под вопрос само обозначение чересчур пестрой группы одним именем «ветераны». В то же время оно делает невозможным проведение четкой линии между двумя акторами мемориализации дивизии: ветеранами и представителями власти. Тем не менее сами ветераны во всех текстах, включая обращения к правительству и партийному комитету республики, подписывались как «бывшие воины»¹¹. Именно позиционирование себя как фронтовиков должно было легитимировать их право на участие в увековечивании войны.

Мемориализация дивизии стала одной из основных задач Инициативной группы. Внутри нее ветераны собрали сектор литературы, создавали планы с распределением выступлений на радио и телевидении, подготовки газетных публикаций среди членов организации. Во время собраний они решали вопрос не только о том, кто имеет право увековечивать дивизию, но и о том, как она должна быть увековечена. Так в одном из протоколов заседания группы в конце 1966 г. зафиксировано:

Для выступления с воспоминаниями о боевом пути Башкавдивизии нужно разработать краткий тезис выступления и обеспечить такими всех товарищей, намеченных к выступлению. Если отдельные ветераны Башкавдивизии желают выступить и рассказать лично о своих боевых подвигах, то тоже должны составить письменный тезис и текст таковой согласовать с советом ветеранов в г. Уфе, а в районах райкомом партии¹².

К сожалению, неизвестно, был ли составлен этот тезис и как должна была излагаться идеальная история этой дивизии. Но привлечение Башкирским издательством ветеранов в качестве рецензентов

¹¹ Так, А. Ихсан в своей статье, излагая просьбу присвоить М. Шаймуратову звание Народного героя Башкортостана, писал: «Мы, ветераны Башкирской дивизии, хотим обратиться к руководителям партийных и советских органов республики и широкой общественности...» См. написанную в 1960 г. статью А. Ихсана «Шаймуратов генерал» (на башк. яз.) в: НА РБ. Ф. 10355. Оп. 1. Д. 39. Л. 41–42.

¹² Протокол собрания ветеранов от 15.02.1967 г. // НА РБ. Ф. 10355. Оп. 1. Д. 45. Л. 72–73.

рукописи воспоминаний их командира генерала Г. Белова проясняет то, какой ее история быть не должна.

Генерал Г. Белов возглавил дивизию после гибели ее первого командира М. Шаймуратова и ее переформирования, а подспудно и потери статуса национальной воинской части. Опираясь прежде всего на свои свидетельства, автор написал книгу в жанре советских военных мемуаров. Она хоть и была посвящена конногвардейцам, но прежде всего освещала боевой путь самого командира с первого дня войны и до победы.

Но, по мнению ветеранов, жанр мемуаров военачальников не был приемлем в деле освещения истории Башкирской дивизии. Так, бывший комиссар одного из полков С. Алибаев предлагал полностью убрать из книги первую главу, в которой Г. Белов излагал свои воспоминания о первом тревожном годе войны, и начать книгу со строк: «В первых числах июля 1942 г. я был назначен заместителем командира 112 Башкирской кавалерийской дивизии»¹³. Другой ветеран, бывший военный комиссар дивизии М. Назыров был не удовлетворен тем, что автор чересчур большое внимание придавал периоду своего командования дивизией, что заслоняло время, которое действительно, по его мнению, заслуживало подробного освещения: «Полнокровная, подлинно “Башкирская” она была в Шаймуратовский период. Если дивизия в период с 1942 г. и начала 1943 г. в своем составе имела 95 % башкир и татар, уроженцев из Башкирии, то после Рейда, получив пополнение за счет освобожденных территорий, соответственно, процент башкир и татар значительно сократился. <...> Тем самым значение как национальной, т. е. “Башкирской дивизии” она потеряла. Поэтому этот период должен был быть более насыщенным боевыми эпизодами, тогда как эти разделы очень бледны...»¹⁴ Для автора рецензии не важно, каким был боевой путь части в «шаймуратовский» или «беловский» периоды. Первый из них значим уже только тем, что это было время «подлинно Башкирской» дивизии.

В видении Г. Белова дивизия представляла собой обычную воинскую часть, функционировавшую в большой машине Красной армии. Это противоречило представлениям ветеранов, опиравшимся на легенду военных лет, согласно которой дивизия была башкирским

¹³ Некоторые замечания на рукопись будущей книги Г. А. Белова об истории Башкирской кавалерийской дивизии в Великой Отечественной войне // НА РБ. Ф. Р-749. Оп. 4. Д. 1433. Л. 160.

¹⁴ Там же. Л. 181.

народным войском. Следуя этой логике, полковник С. Хабилов писал: «Башкирская дивизия была организована Башкирским народом. Она — детище Башкортостана <...> Она, эта дивизия, повторила боевые традиции башкирского народа. <...> В рукописи тов. Белова нет именно вот этого. Нет особенности дивизии. Если изменить номер “16” и оставить номер соседней дивизии “14”, от этого рукопись совершенно не будет страдать. А таких дивизий, как 14-я, было много, а Башкирская была одна»¹⁵.

В рукописи генерала Г. Белова синонимами «наших» часто выступали обозначения «русские», «русские конники», с чем не могли смириться его сослуживцы. «Мы дивизию считаем башкирской, в то же время избегаем показывать башкир»¹⁶, «автор старался поменьше показать башкир, их подвиги приписали воинам другой национальности»¹⁷, — отмечали они. По их мнению, главными героями Башкирской дивизии должны быть башкиры. Более того, после выхода этих воспоминаний во время обсуждения планов будущих книг о дивизии члены Инициативной группы высказали свое пожелание: «Она [новая книга. — Г. Г.] должна отражать особенный характер башкирского солдата и коренным образом отличаться от других выпускаемых военных исторических документов»¹⁸. Уникальность Башкирской дивизии, на чем настаивали фронтовики, делала уникальными/особенными и ее ветеранов. Это могло дать возможность как стать первыми среди всех башкирских ветеранов, служивших в «обычных» воинских частях, так и занять заметное место в мифе о войне в масштабах страны.

Активисты-ветераны Башкирской дивизии в 1960-е гг. представляли собой влиятельную группу, приписывающей себе право помнить и участвовать в мемориализации войны по своему усмотрению. Для многих из них национальный статус, который первоначально имела дивизия, должен был стать краеугольным камнем в памяти о ней. Ветераны настаивали на том, что в дивизии с самого начала и до конца войны было много башкир, о подвигах которых и следовало бы писать Г. Белову. Такой подход, несмотря на переформирование и смену названия воинской части, позволил бы преодолеть факт

¹⁵ Некоторые замечания на рукопись будущей книги Г. А. Белова. Л. 200.

¹⁶ Там же. Л. 189.

¹⁷ Там же. Л. 194–201.

¹⁸ Протокол собрания ветеранов 112-й Башкирской кавалерийской дивизии от 29.12.1966 (на рус. яз.).

ее гибели и увековечить ее именно в качестве башкирской воинской части. История о славной национальной дивизии, дошедшей от Уфы до Берлина, позволяла им вписать собственную биографию в историю народа, к которому причисляли себя ветераны, в миф о войне и победоносном советском народе. Об их желании быть включенными в этот миф говорит и то, что какими бы резкими ни были рецензии ветеранов, никто из них не выступал против публикации книги Г. Белова. Ведь в 1966 г. она должна была стать единственной полноценной публикацией о дивизии на русском языке, которая могла помочь ветеранам выйти за рамки башкироязычной аудитории. Но в видении ветеранов включение в миф о войне должно было перекликаться с национальной политикой государства, согласно которой «советское» не исключало «национальное», а, наоборот, как в случае башкирских конников, позволяло становиться частью советского народа на своих условиях — сохранив собственную уникальность, за которой стояла национальная идентичность.

Сара Грушка / Sarah Gruszka

Sorbonne University, Paris, France

Faculty of Arts and Humanities, Department of Slavonic Studies

PhD Researcher

sarahanna.gruszka@gmail.com

КАК ПИСАТЬ «Я» В ЭПОХУ «МЫ»? ПОИСКИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ ДОПУСТИМОГО ДНЕВНИКА ВО ВРЕМЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ БЛОКАДЫ (1941–1944 ГГ.)

Советские дневники — те редкие источники, благодаря которым можно увидеть связь между личным и коллективным через изучение интериоризации принципов социализма, и тем самым оценить влияние идеологии на личность. Особенно интересно рассмотреть эти вопросы, опираясь на дневники времен блокады. Обычно из них узнают о повседневной жизни блокадников, способах выживания¹, и, благодаря работам Н. А. Ломагина, о настроениях жителей города. В этой статье на основе метода, предложенного Й. Хельбеком², рассматривается, как практика ведения дневника выявляет напряжение между личным и коллективным внутри человека; как двойное давление пропаганды сталинизма и Отечественной войны, когда к коллективистскому этосу присоединяется призыв к самопожертвованию ради победы над врагом, подавляет индивидуальность во имя общего дела.

¹ См. работы С. В. Ярова, Дж. Хасс; использование дневников в: *Пянкевич В. Л.* Люди жили слухами: неформальное коммуникативное пространство блокадного Ленинграда. СПб., 2014. Оригинальный подход к изучению дневников см. в: *Peri A.* The War Within: Diaries from the Siege of Leningrad. Cambridge; London, 2017.

² *Hellbeck J.* Revolution on My Mind: Writing a Diary under Stalin. Cambridge, 2006. Исследование основано на изучении дневников только 1930-х гг., таким образом, более поздние периоды сталинизма не рассматриваются в этой работе. Для более широкого взгляда на типы «субъективного» в советском контексте и его изучения при исследовании сталинской эпохи см.: После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985) / под ред. А. Пинского. СПб., 2018. С. 9–37.

Чем в этих условиях можно оправдать для себя ведение дневника, казалось бы, сфокусированного на личных переживаниях? Как объединить желание выразить свое «я» с требованием подчинения «мы»?

Дневник по-большевистски

Ведение дневника в сталинское время воспринималось как нечто подозрительное, несовместимое с ценностями коммунизма — из-за индивидуализма (признака буржуазной идеологии) и скрытности (признака двурушничества). Некоторые авторы дневников полностью разделяют эту позицию. Так, в начале дневника профессиональный пропагандист Владимир Ге сомневается, хочет ли он предаться «литерической» и «романтической» практике, почве для «самовосхваления и самолюбования», «порождаемой интеллигентским пристрастием к самоанализу»³. Он не употребляет само слово «дневник», ощущая неловкость в связи с его отрицательными коннотациями⁴.

Во времена репрессий ведение дневника потенциально опасно; его содержание могло стать доказательством вины «врага народа» и во время блокады⁵. Но если авторы выступали на страже принципов социализма, когда «интимное ищет форму общественного выражения» и стирается «грань между “я” и “мы”»⁶, то такие дневники даже поощрялись властями. Еще в начале 1930-х гг. ведение дневников всячески поддерживалось — для создания коллективного портрета эпохи⁷. Такую же кампанию начинают в конце 1941 г. различные институты осажденного Ленинграда — заводы, музеи, Институт истории и т. д. Горожан призывают вести дневники для документирования происходящего. Высшими партийными чинами обсуждается уровень допустимой субъективной оценки. Во время заседания

³ Ге В. Н. Дневник // Ленинградцы. Блокадные дневники / под ред. Н. Е. Соколовской. СПб., 2014. С. 204 (запись от 22.07.1943), 244 (запись от 01.10.1943).

⁴ Ге В. Н. Дневник. С. 204 (запись от 22.07.1943).

⁵ См. дневники, найденные в архивах ФСБ: Бернев С. К., Чернов С. В. (рук.) Блокадные дневники и документы. СПб., 2007.

⁶ Шубин Э. А. Блокадные дневники писателей // Литературный Ленинград в дни блокады. Л., 1973. С. 253.

⁷ «История гражданской войны», «История московского метро» или «История фабрик и заводов» под эгидой М. Горького в начале 1930-х гг. См.: *Bouvard J. L'injonction autobiographique dans les années 1930 // Cahiers du monde russe.* 2010. N 50. P. 69–92.

райкома Кировского района выступающие говорят, что дневник «может быть совершенно личным, но может быть использован для общего дела»⁸; в конце концов первый секретарь заявляет: «Как сугубо личный дневник он нам не нужен. Нам нужен дневник, который имел бы ценность для общества <...> Всё это личное должно быть дано общественному»⁹. Подобные рассуждения встречаются и в самих дневниках.

Самоуничтожение

Во всех определениях дневника всегда встречается формальный признак повествования от первого лица, часто дополняемый требованием содержать в себе личный опыт пишущего¹⁰. При этом некоторые дневники блокады этому определению не соответствуют: иногда в них нет не только никакого указания на личность автора, но даже местоимения «я» или глагола в первом лице. Таков дневник Бранднэбравник, переполненный цитатами из газет и радиопередач, которые выявляют, насколько официальная пропаганда не только подавляет самовыражение, но и может полностью его уничтожить¹¹. Более известный дневник Николая Горшкова — ярко выраженный пример деперсонализации и в содержании, и в стиле изложения. Автор полностью исключает себя из повествования, он — сторонний наблюдатель. Местоимение «я» полностью отсутствует в 880 записях, заменяясь на общие описания в третьем лице («население», «люди», «город», «граждане», «народ»...). Нет глаголов в первом лице, только безличные («встречаются», «видны», «ощущается»...), появляются даже несуществующие конструкции для выражения эмоций («было радо»). Описывая самые мрачные события, он отказывается от комментариев, никогда не касается своей личной ситуации. Нет ниче-

⁸ Стенографический отчет совещания аппарата Кировского РК ВКП(б) г. Ленинграда 26-го ноября 1941 г. // Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга (далее — ЦГАИПД). Ф. 4000. Оп. 10. Д. 776. Л. 12.

⁹ Там же. Л. 18.

¹⁰ См., напр., определение в статье: *Paperno I. What Can Be Done with Diaries?* // *The Russian Review*. 2004. Vol. 63, N 4. P. 562.

¹¹ Дневник Бранднэбравник. «Враг у ворот города» // Глезеров С. Е. Блокада глазами очевидцев. Дневники и воспоминания. Книга вторая. СПб., 2015. С. 15–23.

го и о том, как он сам переживал блокаду, голод, потерю близких. Единственное упоминание о нем лично существует также только в третьем лице: «Получил медаль “За оборону Ленинграда” автор этих записок»¹²: видимо, гордость при получении награды подталкивает его чуть изменить выбранную линию повествования. Анализ текста дневника Горшкова не позволяет понять, была ли подобная деперсонализация сознательной, но у других авторов мы видим сомнения в целесообразности самовыражения и его подавление. Принимая форму безличной хроники, эти тексты часто вступают в противоречие с эволюцией жанра дневника последних столетий, когда он перестал быть фактологической хроникой для фиксации внешних событий (или «объективным дневником») и стал все более концентрироваться на личной жизни и внутреннем мире автора¹³.

Коллективизация личных записей

Многие авторы прямо задают вопрос, насколько они могут позволить себе субъективное: «Нужно ли писать о себе?», «Писать ли о себе, своих переживаниях?»¹⁴ Подобная неуверенность характерна не только для тех, кто вырос под влиянием советской идеологии и пропитался антииндивидуалистической идеей, но и для тех, кто сформировался в царскую эпоху.

Владимир Ге считает «неуместным» «выпячивание своего “Я”», «когда лязг и грохот танковых колонн врага и зловещее гудение его самолетов оцепеняли все остальные мысли»¹⁵. Именно пропасть меж-

¹² Горшков Н. П. Блокадный дневник // Бернев С. К., Чернов С. В. (рук.) Блокадные дневники. С. 204 (запись от 23.09.1943). Другие примеров дневников, где самовыражение сведено к минимуму, см. в: Ходорков Л. А. Дневник // Ленинградцы. Блокадные дневники. С. 81–126; см. также дневник Борониной, где первая личная запись появляется только спустя два месяца после его начала (запись от 19.12.1941): «Дневник стал потребностью...»: дневник Е. А. Борониной // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2014 г. / отв. ред. Т. С. Царькова, Н. А. Прозорова. СПб., 2015. С. 283–348.

¹³ Richard Meyer, цитируемый в: Goldberg A. Trauma in First Person. Diary Writing during the Holocaust. Bloomington, 2017. P. 13.

¹⁴ Князев Г. А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945. СПб., 2009. С. 505, 310 (записи от 26.02.1942 и 17.11.1941).

¹⁵ Ге В. Н. Дневник. С. 204 (запись от 22.07.1943).

ду своей незначительностью и величием войны долго удерживала его от ведения дневника¹⁶: великая История требует отказа от самого себя. Многие авторы как раз считают дневник своим личным вкладом в победу, когда другой возможности активного участия в войне нет¹⁷. В этой связи некоторые жертвуют личной сферой ради описания картины происходящего в целом, усваивая одобренную властями концепцию социально или исторически полезного дневника. Георгий Князев симптоматично противопоставляет «личный, индивидуальный» подход и «гражданский, мужественный», который требует «отречения от себя», «забывать личное, даже свою жизнь»¹⁸. Авторы используют дневники, чтобы лучше вписаться в коллективное — феномен, замеченный Хельбеком в дневниках 1930-х гг. Этой же логике следует передача дневников в архивы еще до окончания войны¹⁹, фиксируя «коллективизацию» изначально интимного действия и добровольного отказа от владения (дневник принадлежит не им, а Истории), что свидетельствует о настолько сильном переплетении личного и общественного, когда уже нет даже стремления к индивидуальному самовыражению.

Оправдание самовыражения

Несмотря на декларируемые намерения, в дневнике трудно не говорить о себе, и авторы ищут оправданий перед лицом коллективного. Многие следуют официальной линии партии об идеальном дневни-

¹⁶ Ге В. Н. Дневник.

¹⁷ См.: Князев Г. А. Дни великих испытаний. С. 1069. «Сделал ли я хоть отчасти что-нибудь нужное для истории моего времени? Говорю <...> о своих “Записках” — вот этих страницах» (запись от 12.05.1945). См. также: Синакевич О. В. Дневник. Зима 1941–1941 гг. Ленинград, Казахстан // Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее — ОР РНБ). Ф. 163. Д. 311. Л. 5 (запись от конца ноября 1942); Черновский А. А. Письмо директору Музея истории и развития Ленинграда // ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 119. Л. 138; Вишневский В. В. Собр. соч.: в 5 т. Т. 3. М., 1956. С. 298 (запись от 22.01.1942); Забелин А. А. Дневник // Война и блокада / под ред. Н. К. Мальцевой. СПб., 2010; Болдырев А. Н. Осадная запись: Блокадный дневник. СПб., 1998.

¹⁸ Князев Г. А. Дни великих испытаний. С. 290–291 (запись от 09.11.1941).

¹⁹ Между 1943 и 1946 г. сотни дневников были собраны Институтом истории ВКП(б), который возглавлял кампанию по поддержке и ведению дневников. С ними можно ознакомиться в: ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 11.

ке и обязуются писать о себе, только если пережитое имеет общую ценность: «В своих записях я постараюсь свести к минимуму свои личные переживания, останавливаясь на них лишь в том случае, если они мне покажутся типичными для известной части людей, если они смогут явиться отображением настроений и ощущений на определенном отрезке войны, не только лично моих»²⁰. Единичному опыту блокады не место в подобном документе. В работе, посвященной литературной жизни в блокадном Ленинграде, ведение дневников некоторыми писателями объясняется так: «О себе писали лишь в той мере, в какой это касалось всех»²¹. Только так «я» может подняться на исторический уровень. В случае же неудачи автор дневника обличает сам себя: завершая свою запись, один из них сожалеет, что «в ней так мало важного, действительно характерного для нашего времени. Жаль, что я так близорук»²². Другой, разочаровавшись в своей неспособности подняться на уровень исторических событий, определяет дневник как «мелкий» и «жалкий»²³. Третий, член партии, извиняется, что позволил себе писать о семье и ухудшении состояния здоровья. Неспособный примирить в дневнике самовыражение и историческую ценность, он совсем отказывается от первого и заполняет дневник официальными сообщениями²⁴.

От теории к практике

Жажда написать о собственных переживаниях все равно оказывает давление на обезличенный стиль изложения. Дневник Лидии Заболотской, пропагандистки, занятой поощрением ведения дневников, позволяет увидеть эту сложность совмещения теории и практики. «Я часто думаю о том, то ли я пишу в дневнике, что нужно», — замечает она спустя пять месяцев после начала дневника. Ее собственный порыв совпадает с рекомендациями партии («Я пишу дневник, потому что выполняю одно из заданий Райкома, — пи-

²⁰ Ге В. Н. Дневник. С. 205. См. также: Черновский А. А. Дневник. В Ленинграде // ЦГАИПД. Ф. 4000. Оп. 11. Д. 119. Л. 107 (запись от 27.02.1942).

²¹ Шубин Э. А. Блокадные дневники писателей. С. 252.

²² Человек из оркестра. Блокадный дневник Льва Маргулиса / ред. Н. Е. Соколовская. СПб., 2013. С. 118 (запись от 11.01.1942).

²³ Панченко Н. В. Дневник. Записи от 02.07.1941, 18.12.1941, 01.01.1944 // Прожито. URL: <http://prozhito.org/person/2572>.

²⁴ Nikulin A. P. Дневник. Цит. по: Peri A. The War Within. С. 208–209.

шу, чтобы помочь в будущем восстанавливать историю обороны Ленинграда»²⁵). Она намерена избегать записей о себе, определяя дневник через отрицание: «Не для описания своей личности я веду дневник», «ведь завела я его не для излияния чувств»²⁶. При этом она обнаруживает неспособность следовать советам, выполнения которых требует от других. Факт ведения дневника скрывается, только самые близкие знают о его существовании²⁷. Это делает возможным записи, разрушающие миф о спянном сообществе ленинградцев или критикующие бюрократов, которые не могли бы появиться в документе, созданном по долгу службы. Она вынуждена признать свою склонность к излиянию чувств²⁸. Даже те, кто хорошо ее знает, никогда бы не подумали, что она может вести настолько сентиментальный дневник, они бы скорее считали, что он должен быть «деловым, четким, полным фактов». Она оправдывается, приводя аргумент репрезентативности — внесение личного в коллективное: «Мне кажется, что и чувства рядового ленинградца (а мои чувства и мысли — это чувства и мысли большинства) тоже интересны для истории и что люди, которых, может быть, не всегда полно я показываю в нем, тоже интересны для истории». Одновременно, она уже отстаивает право на свободу выражения: «Думаю, что писать в дневнике надо то, что человеку хочется писать. Только тогда он может быть искренним, а это неперемное условие ведения дневника». В результате она приходит к отрицанию официальных правил ведения дневника: «А вообще думаю, что писать надо как пишется». Похожий вывод можно найти в дневнике Наталии Панченко, где обрисованы контуры требования свободы самовыражения²⁹.

Дневники времен блокады позволяют дополнить картину отношения человека к себе и к идеологии сталинского режима. Ведение дневника не всегда связано с поиском личного пространства, которое могло бы стать убежищем в коллективистском и всепроникающем социуме: приведенные примеры показывают, что личный дневник

²⁵ *Заболотская Л. К.* Дневник 23 августа 1942 года — 6 июня 1943 года // Ковальчук В. М. Человек в блокаде: новые свидетельства: сб. СПб., 2008. С. 140 (запись от 22.01.1943).

²⁶ Там же.

²⁷ Там же.

²⁸ «Чувствую, что в моем дневнике больше чувств, чем фактов» (там же).

²⁹ *Панченко Н. В.* Дневник. Запись от 01.01.1944.

мог быть присягой общему делу и доказательством личного вклада. В этом мы наблюдаем совпадение между официальной концепцией дневника, соответствующего правилам, и дневника, к которому стремятся некоторые из авторов. При этом самоидентификация не означает отсутствия противоречий и невозможности раскрепощения. Каждый из авторов по-своему примиряет между собой личное и общественное. Ожидания и ценности режима могут выступать проводником, служить моделью, иногда оказываться препятствием, но автор в конечном итоге ищет способ выразить себя так, как считает нужным.

Альбина Заверткина

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
бакалаврская программа «Культурология»
студентка 3 курса
aazavertkina@edu.hse.ru

АВТОБИОГРАФИЯ МИСТИКА РОВНЕРА КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СМЫСЛОВ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЩЕНИЯ

В этом исследовании будет рассмотрен один из возможных вариантов религиозности, возникший под влиянием советского контекста. Основной материал для исследования — автобиография Аркадия Ровнера «Вспоминая себя. Книга о друзьях и спутниках жизни»¹. В 17 главах 70-летний автор (книга вышла в 2010 г.), называющий себя мистиком, ретроспективно описывает свою жизнь, тем самым предоставляя материал для анализа формирования религиозного мировоззрения, которое оказывается неразрывно связано с социальным контекстом. Изучение автобиографии А. Ровнера меняет наше представление о том, какие формы религиозности были доступны советскому человеку.

Аркадий Ровнер родился в 1940 г. в Одессе, среднюю школу окончил в Тбилиси и жил в СССР (преимущественно в Москве) до 1973 г. После чего эмигрировал в США, а в 1994 г. вернулся в Москву, где живет до сих пор.

Первую главу книги автор посвящает своему другу Степану Ананьеву, которого называет «первым наставником»², оказавшим влияние на формирование его характера и дальнейшей жизненной траектории: «Какую-то часть жизни жил по программе, полученной от Степана»³. В 1958 г. Степана арестовали за «антисоветскую деятельность», тогда же А. Ровнер закончил школу и уехал из дома с целью организовать революцию, реализуя «программу»

¹ *Ровнер А.* Вспоминая себя. Книга о друзьях и спутниках жизни. М., 2010.

² Там же. С. 7.

³ Там же.

Степана⁴. Побывав в Брянске и Казахстане, автор попал в Саратов, где устроился рабочим на химкомбинат, но воодушевить остальных работников на восстание у него не получилось. Разочаровавшись в идее революции, в 1959 г. Ровнер поступил на заочное отделение философского факультета МГУ, а в 1963 г. его и еще нескольких студентов исключили за «идеологическую диверсию»⁵ (описанную во второй главе книги).

После исключения из МГУ Ровнер жил в бараке выпускника философского факультета Валентина Булдакова (Буля), вместе с ним ходил в Библиотеку им. Ленина, читая редкие книги и общаясь с другими посетителями (вторая глава). В этом «пространстве Буля»⁶ автор познакомился с Владимиром Степановым, которого он называет «вторым наставником»⁷ и воспринимает как проводника в следующий период своей жизни, который продолжался до эмиграции в 1973 г. и связан с представителями «мистического андеграунда»⁸.

Научное осмысление феномена возвращения интереса к мистике в позднесоветском обществе, влияние этого движения на понимание религиозного, советского и их отношений, а также влияние мистических учений и их последователей на советскую и постсоветскую культуру начало оформляться относительно недавно.

П. Г. Носачев предлагает библиографический очерк изучения «советского эзотерического подполья»⁹. Он перечисляет не только тексты исследователей, но и доступный для изучения материал, указывая в том числе и книгу Ровнера. Обзор позднесоветских объединений, включая мистические, появляется и за пределами академических текстов, например, недавно вышедшая публикация

⁴ Вот как пишет об этом автор: «Мне предстояло органично войти в рабочую среду и начать пропаганду идей истинного марксизма, искаженных идеологами лицемерного и прогнившего режима» (там же. С. 20).

⁵ Там же. С. 42.

⁶ Там же. С. 51.

⁷ Там же. С. 52.

⁸ Там же. С. 107. Среди упоминаемых персонажей — Генрих Худяков, Юрий Мамлеев, Эдуард Лимонов, Вагрич Бахчян (четвертая глава), Евгений Головин (пятая глава) и др.

⁹ Носачев П. Г. Прологомены к изучению советского эзотерического подполья 60–80-х гг. XX в. М., 2012.

Ольги Таракановой в журнале «Нож»¹⁰ подтверждает необходимость осмысления феномена и его связи с современностью в рамках отдельных научных исследований.

На мой взгляд, рассматривать фигуру Аркадия Ровнера только как представителя «советского эзотерического подполья» — значит упростить и его биографию, и конструируемое таким исследовательским подходом знание. При таком подходе исследование «эзотериков», к которым относят Ровнера, обособляется от исследований других типов религиозного, например православных верующих, причем настолько, что разговор между этими исследовательскими лагерями становится невозможен¹¹.

Я предлагаю посмотреть на автобиографию «Вспоминая себя. Книга о друзьях и спутниках жизни» не как на источник информации об эзотерическом подполье, но как на описание индивидуального опыта формирования религиозных представлений и материал для изучения социальных смыслов религиозного обращения. Такой подход позволит включить фигуру Ровнера в процессы секуляризации и десекуляризации, как они описаны Ж. Корминой и С. Штырковым¹².

¹⁰ Тараканова О. Хтонический интеллектуализм. Чем жили позднесоветские научные кружки, художественные объединения и правозащитные сообщества // Нож. 2018. 28 окт. URL: <https://knife.media/ussrcoterie>.

¹¹ Под процессом секуляризации, вслед за Т. Асадом, предлагается понимать «живой процесс переопределения воображаемых границ между сакральным и секулярным в повседневной жизни, а также в сфере политического дискурса и праксиса» (*Asad T. Formations of the Secular: Christianity, Islam and Modernity. Stanford, CA, 2003*). Тогда как в советском обществе, «объективно и субъективно секулярном... проявления “жизни по вере”... сконцентрированы на особых площадках, границы которым задает социальное воображение». Особенность разбираемого мною кейса в том, что в социальном воображении нет четкого представления о площадках, в которых должна концентрироваться религиозность, носителем которой можно считать А. Ровнера. Ее не было в СССР, нет и сейчас, в постсоветском пространстве, но процесс «легализации религии через ее локализацию в культуре» в случае мистических, оккультных, эзотерических течений, по-моему, происходит и/или продолжает происходить сейчас, в том числе через музыку, литературу и поп-культуру, чему, в частности, и посвящены статьи П. Г. Носачева и О. Таракановой.

¹² Кормина Ж., Штырков С. Изобретение религии. Десекуляризация в постсоветском пространстве. СПб., 2015. С. 9.

Для анализа кейса Ровнера я предлагаю, опираясь на проблематику субъекта и истины, разработанную Мишелем Фуко¹³, обратить внимание на то, как конструируется субъектность в тексте Ровнера и как в этой конструкции понимается истина (для Ровнера — «подлинность»), к которой субъект стремится. К проблематике субъекта и истины подводит сам жанр автобиографии¹⁴. Весь текст — это создание собственного «я», а потому важно обозначить его структурные и содержательные особенности. Автобиографию Ровнера можно разбить на три части: завязка (предисловие), основная часть с развитием действия (главы 1–16) и заключение (17 глава).

В предисловии¹⁵ автор, следуя логике жанра, объясняет замысел книги: он хочет подвести итоги своей жизни накануне 70-летия и обещает рассказать обо всем правдиво¹⁶. Здесь же Ровнер вводит важную для понимания его представления о субъектности метафору: «В моем представлении человек — это многогранник, грани которого образуют проекции в виде близких ему людей. Мои друзья — это мои грани, и книга, повествующая о самых важных людях в моей жизни, это книга обо мне самом».

Автор предлагает такую модель субъекта, в которой изначально есть некая «глубина» и «подлинность», которая является первичной по отношению к его граням. Грани субъекта — это оформление этой внутренней глубины в такую форму, благодаря которой субъект может существовать в социальном мире. Субъект проявляет себя во внешней, т. е. социальной среде только через взаимодействие с людьми, они формируют его социальное тело и помогают предстать в виде многогранника.

С помощью этой метафоры Ровнер показывает читателям, как следует воспринимать весь текст. Об основной части (главы 1–16) следует сказать следующее. Разделение текста на главы, а жизни — на периоды определяется в первую очередь социальным контекстом, иногда в ущерб хронологии. Каждая глава посвящена конкретным

¹³ Фуко М. Герменевтика субъекта. СПб., 2007.

¹⁴ Об особенностях жанра и изучении советских автобиографических текстов см.: Дубин Б. Классика, после и рядом. Социологические очерки о литературе и культуре. М., 2010.

¹⁵ Ровнер А. Вспоминая себя. С. 5–6.

¹⁶ Такую установку на честность Филипп Лежён называет «автобиографическим соглашением». Термин Лежёна вводит Борис Дубин: Дубин Б. Классика, после и рядом. С. 144.

людям (их имена вынесены в названия или подзаголовки глав). Ровнер излагает не только свою биографию, но и биографию своих «спутников жизни». Кроме того, автор дает голос своим персонажам, включая в свой текст отрывки чужих текстов (в форме стихов, писем, рассказов¹⁷, интервью¹⁸). Благодаря этому можно обнаружить связь автора с сообществами, практиками поведения и мировоззрением, которые эти люди представляли, что может стать предметом дальнейшего изучения.

Последняя, семнадцатая, глава называется «Главка о себе»¹⁹. Как и в предисловии, здесь автор поднимается на теоретический уровень и предлагает познакомиться с опытом его собственного осмысления представлений о себе и своей биографии. В тексте последней главы Ровнер сначала расшатывает понятие субъекта рядом вопросов: «Кто “я” и что “я”? И прежде всего — есть ли у меня единое “я”?»²⁰, а затем последовательно излагает собственное представление о самом себе, о том, как оно формировалось и изменялось.

Важную роль в самоопределении Ровнера сыграли мистические переживания столкновения с иной реальностью, которые он испытал дважды: в 11 лет и в 33 года. Вот как он описывает первый опыт: «Я уже засыпал, когда весь мир перевернулся. Я испытал страх и непонятный восторг. Руки мои потянулись вверх, одновременно принимая то, что на меня надвигалось, и заслонясь от него. <...> Меня не было, но я был везде — я был Всем»²¹. Второй раз этот опыт Ровнер испытал во время медитации в храме Вашингтона: «На меня обрушилась и накрыла, как гигантская волна, иная реальность, которую я сразу же узнал из моей детской памяти... <...> это была бесконечность, в которой я и Мир были одним»²².

Полученное из мистического опыта знание о существовании иной реальности повлияло на восприятие Ровнером себя и на его отношение к мистицизму. Себя автор стал определять как «мистика,

¹⁷ В том числе и собственных, но более раннего периода (тогда, возможно, автор был еще другим субъектом).

¹⁸ Например, цитирует текст интервью с Владимиром Степановым из текста: *Лебедько В. Хроники российской саньясы*. Т. 2. М., 2000.

¹⁹ *Ровнер А. Вспоминая себя*. С. 313.

²⁰ Там же.

²¹ Там же.

²² Там же. С. 317

пишущего прозу и стихи»²³. Здесь важен смысловой акцент: Ровнер наделил главным значением практики (медитация, йога, эксперименты с телом и сознанием), а вторичным, хотя тоже важным, — возможную вербализацию внутренних ощущений. Это повлияло и на его отношение к мистицизму: «Для меня стала немислимой какая-либо религиозная “прописка”»²⁴. Он отказался относить себя к конкретному религиозному учению, зафиксированному в слове.

Такое восприятие подрывает понимание религии как автономной сферы, существующей только в ограниченных пространствах, регламентированных социальным воображением, на которое опираются Ж. Кормина и С. Штырков²⁵. Границы между секулярным и сакральным размываются, Ровнер сам как субъект не воспроизводит их. В сознании Ровнера религия — не обособленные пространства, а образ жизни, который может не иметь внешних, понятных для всех, атрибутов.

Противопоставление «норме» можно назвать одной из устойчивых характеристик религиозности Ровнера, основанной на переживании постижения реальности за пределами привычного мира. Кроме того, автор стремился объяснить себе произошедший с ним опыт, поскольку для него было важным существование в контексте, где этот опыт не отвергался бы как ложный и имел значение. Нужный язык и принимаемую вместе с ним мировоззренческую позицию автор не смог получить ни в школе, ни в университете, ни в других официальных институтах, создаваемых государством. Он не смог стать субъектом советского дискурса (пусть и измененного), за которым предполагался определенный образ жизни. Собственный язык Ровнер искал в других источниках: в литературе и общении с людьми. Связь литературы и конкретных людей иллюстрирует его переписка со Степаном, с которым он обсуждал книги, прочитанные во время обучения в МГУ. Эту переписку он называет своим университетом в противовес официальной университетской среде. Здесь общее противопоставление себя привычному наблюдаемому миру оформляется в неприятие советской «нормы», которая воплощалась в любых официальных институтах. Такая установка подкреплялась периодическими допросами Ровнера, которые начались из-за его дружбы с арестованным Степаном, и была артикулирована инспектором ЦК

²³ Там же. С. 319.

²⁴ Там же. С. 320.

²⁵ Кормина Ж., Штырков С. Изобретение религии. С. 9

КПСС, который при разговоре с Ровнером не определил его как «нормального советского человека»²⁶.

Эта ненормальность — важная характеристика не только самого Ровнера, но и окружавших его людей: «Мои спутники по жизни были маргиналами, богемой, людьми, выпадающими из культурных клише, но именно в этом качестве людей, не захваченных социумом и не приспособленных им для своих плоских нужд, они и интересны»²⁷. Слепо следовать тому, что в обществе признается нормой, для Ровнера значит становиться только инструментом в руках общественных сил. Необходимо обращаться к собственному опыту и формулировать свою жизненную программу²⁸, сохраняя дистанцию по отношению к любым стереотипам, включая государственную идеологию или, например, логику экономического успеха.

При исследовании религиозного контекста позднесоветского общества мне тоже представляется продуктивным отказаться от заранее установленных понятий и стереотипных представлений в области определения категорий «верующих людей» и включать в рассмотрение разные типы понимания религиозности и способов ее артикуляции.

В заключение предлагаю обратить внимание на сходства автобиографии Ровнера с книгой о Тихона (Шевкунова)²⁹ — в качестве приглашения к размышлению. Тексты были опубликованы с разницей в год. Биографическое повествование мистика, с одной стороны, и православного христианина — с другой, построены по одному принципу: все главы посвящены конкретным людям. Каждый создает антропологическое описание своего времени и контекста. Такое сравнение позволяет поставить вопрос, ответ на который может стать темой дальнейших исследований: что оба текста, рассматриваемые вместе, могут сказать нам о религиозном контексте советской и постсоветской действительности?

²⁶ Кормина Ж., Штрыков С. Изобретение религии. С. 28.

²⁷ Там же. С. 77.

²⁸ Что похоже на принцип «заботы о себе», включающий необходимость духовной трансформации, который в европейской культуре был заменен рациональным принципом эпохи Просвещения — «познай самого себя», — не предполагающем изменения субъекта. Такая левоориентированная понятийная модель Фуко помогает при осмыслении государственных режимов, возможностей существования и восприятия себя как субъекта в них, в том числе в советском контексте. См.: Фуко М. Герменевтика субъекта.

²⁹ Шевкунов Т. Несвятые святые и другие рассказы. М., 2017.

Лийс Йыхвик / Liis Jõhvik

Tallinn University, Tallinn, Estonia

School of Humanities

PhD Student

liisjohvik@gmail.com

REEL LIFE: MEMORY AND GENDER IN SOVIET HOME MOVIES AND AMATEUR FILMS—A CASE OF ESTONIAN TV SERIES “8 MM LIFE”

While it is the individual who remembers, remembering is more than just a personal act¹.

Introduction

In the late 1980s there was a growing interest in collecting memories to rethink the national past of Estonia. Autobiographies and other collections of memories played an important role in reconstructing the Soviet as well as prewar era². In addition to those various biographical waves of remembering the past century's experiences, new campaigns have emerged. For instance, in 2017 there was a campaign for collecting “100 photos of Estonian family”³ to publish photo-stories for the Estonian's 100th anniversary on 24th of February 2018. Visual sources have aroused interest in rethinking the history and reconstructing the national narrative not only in Estonia but also in other Eastern European countries.

Verbal and written sources have played an important role in representing the Soviet past. However, in the past five years there has been a shift to

¹ Misztal as quoted in: *Kuhn A. Memory Texts and Memory Work: Performance of Memory in and with Visual Media // Memory Studies. 2010. Vol. 3/4. P. 298.*

² See also: *Jõesalu K. Dynamics and Tension of Remembrance in Post-Soviet Estonia: Late Socialism in the Making. Dissertationes Ethnologiae Universitatis Tartuensis 6. Tartu, 2017.*

³ This call predominantly looked for photographs and stories that stress the difficult past of the Estonians. For example, it looked for photos of families that were deported or otherwise separated because of the wars. All this underlines the suffering of the nation and promotes its resiliency and the ability to survive and to overcome the difficulties (100 Eesti perekonna lugude kogumine ja avaldamine. URL: <https://www.ev100.ee/et/100-eesti-perekonna-lugude-kogumine-ja-avaldamine>).

looking at other ways of interpreting the past. The Estonian Public Broadcasting produced a series “8 mm LIFE” (2014–2015) that featured people’s old home movies and amateur films shot in between 1965 to 1991. The people depicted in the films were invited to the studio to recall their memories. The aim of the series was, as the series makers have pointed out, to retell Estonian history from a personal and immediate perspective. Similar projects — the aspiration for historical immediacy and proximity — have also been carried out in other former state socialist countries, i. e. in Latvia and Russia. In all those projects, it is interesting to see how the different media enables to rethink the Soviet past.

In my paper I discuss how the past is reconstructed through the illusion of “watching together” those old home footages — reused in TV series or documentary films. I have been inspired, among others, by Martha Langford’s study of “speaking the album”⁴ and I look into how “watching together” and interviewing the people shot and/or shown in the series “8 mm LIFE” enables to understand the memory dynamics and to analyse the reconstruction of self and subjectivity of then and now. I analyse how performing the “watching together” and showing the interviews together with the people involved influences the ways the era of late socialism is remembered, how gender, memory and nation are reconstructed in the practice of home movies, and what alternative cultural, social and political reflection spaces are opened up by showing the films in the films’ future.

I place my study on the crossroads of memory and gender studies. I apply the concept of *personal cultural memory*⁵ as coined by José van Dijck to discuss personal remembering and to assign meaning in the private environment through the visualised stories on TV. In this approach, personal memory forms a part of cultural memory through certain storytelling themes and through the intimate ties of kinship. The framework of the series “8 mm LIFE” makes it evident how certain norms, such as “happy or good life”, are reproduced and intertwine with the narrative of the national past and impact the popular understanding of history.

In what follows, I will first speak about the series, its cultural form and context, how it reconstructs history, I will then point out three examples of the series to illustrate the remembering and memory practices on TV.

⁴ Langford M. Speaking the Album. An Application of the Oral-Photographic Framework // Locating Memory. Photographic Acts / eds. A. Kuhn, K. E. McAlister. New York, 2006.

⁵ Dijck J. Mediated Memories in the Digital Age. Stanford, 2007.

“8 mm LIFE”—Cultural Form and Context

The Estonian Public Broadcasting announced a call in 2014 for people to send them their home movies and amateur footages. The Public Broadcasting received more than 160 footages from about 70 amateur filmmakers. Those filmmakers received a digitised copy with their films that they had not seen for many years. The films depict children growing up, family get-togethers, day trips, weddings, pets, collective work, holidays and other everyday activities considered worth recording at the time. It is important to note that many films depict practices that few had access to, for example travelling in and especially out of Soviet Union or buying a car or a house in the countryside.

A result of the call, only in Estonian, was the 28-episode TV series “8 mm LIFE”. The series featured footages that had been shot between 1960 and 1985. Those fragmented footages were re-edited and accompanied with the contemporary music. They were also accompanied with live commentary—either by studio guests that were the people involved in the footages or by a professional TV presenter. The series was one of its kind to depict the era of late socialism based on personalised visual footages and to perform a form of “watching together”; aspiring so for a different kind of historical documentary—showing how the past was “experienced” and “eye-witnessed”, not excluding people’s intimate lives.

The aim of the series was to grasp the day-to-day life of the people and in doing so to give insight into the Estonian history. Collecting personal vignettes and considering them as pieces of the collective memory is a part of a larger trend in the Estonian national history writing since the late 1980s. This trend is not typical only to Estonia but also to other former Soviet states, e. g. in Latvia. In these collected life stories the prewar era was idealised and the Soviet era was seen as a national rupture and destruction⁶. The autobiographical stances served all in legitimising the Estonian state and nation⁷.

⁶ *Kõresaar E.* Elu ideoloogiad. Kollektiivne mälu ja autobiograafiline minevikutõlgendus eestlaste elulugudes. [Ideologies of life. Collective memory and autobiographic interpretation of the past in the life stories of Estonians.] Tartu, 2005.

⁷ *Tamm M.* The Republic of Historians: Historians as Nation-Builders in Estonia (Late 1980s—Early 1990s) // *Rethinking History*. 2016. Vol. 20, N 2. P. 154–171.

However, in the recent past the period of late socialism, that is the period of 1960 to 1985, has aroused curiosity and interest. Museums, archives, filmmakers and television have become interested in people's everyday lives and experiences in Soviet Estonia. The reason for this is the generation that had been born in the Soviet Estonia and had spent their most active years in the era of late socialism, felt that their stories were not heard in enough in the public discourse⁸. For them, the Soviet period also contained happy personal memories.

The home movies sent to the studio tend to depict personal, quotidian happy moments (more precisely: personal happy moments of “Sundays” or escaping the everydayness). The framework of the series further imposes the sense of peaceful and blissful past. In order to impose emotional accord and a sense of past, the series had set the studio as a retro living room — filled with furniture of the Soviet era and with an old projector on the wall. This does not only enable to see the past through someone's else camera-eye, furthermore, it creates an illusion of “watching together” or “speaking the home movies” with the subjects that shape these images—the representation and interpretation.

Originally, watching the films together added voice and sound to the otherwise silent footages, and, therefore opened up alternative ways for seeing, e. g. disagreeing with the person behind the camera and/or pointing out visual omissions and unseen things and thoughts. The grainy, spotted, scratched and washed-out analogue films of 8 mm camera used in the series create a sense of analogue aesthetics—reminding the viewer of imperfections and human mistakes. This retro-effect and the illusion of watching together not only increase emotional value but imply continuity between past and present.

The overall setting and the framework of the series create a sense of immediacy of past's first hand experiences and memories. The low quality, shaky images and other hand-held camera effects not only make the audience *feel* what one has seen the way it was seen but also brings the “lived reality of the Soviet past” closer by focusing on singular moments in a single individual's life. In so doing, the amateur films and home movies shown on TV play a role in validating and normalising the Soviet past of Estonia; normalising the life of the subjects—ordinary people but not the Soviet Union.

⁸ *Jõesalu K.* Dynamics and Tension of Remembrance. P. 13.

“8 mm LIFE”: Memory and Gender (a few points)

Ann Rigney has pointed out that the aesthetic has the power to make stories more memorable and accessible⁹. “8 mm LIFE” with its unordinary aesthetic and images has the power to influence the remembering of late socialism and produce critical reflection on dominant memory practices through their aesthetic potential. The series has potential to rethink personal and cultural of Soviet past. Depicting joyous and happy moments may to some extent countervail the prevailing perception of the Soviet era as ridiculous, dull, grey and repressive.

There is a footage of a young couple spending time in the countryside — they go swimming nude and spend a happy time together. This footage disrupts the general perception of the Soviet era on at least two levels. First, the TV host says that now you will see images that would have not made it to the TV screen back at its time. This creates a contrast with the past; the present is depicted more liberal than the strict Soviet body politics. On the other hand, the people in the studio feel the need to justify themselves, saying that they looked for empty places to practice nudity which stresses the taboos of both then and now. Secondly, the footage shows the happiness of the people — providing a form of self-representation and constructing one’s identity through intimate versions of one’s family history. On a broader level, it credits the individuals for being able to lead a *happy life*¹⁰ under the repressive circumstances.

The era of late socialism was a dynamic era where different values co-existed. The communist symbolic events were mingled with nationalist ideals which were mingled with a fascination of the imaginary West which was mingled with the hope of satisfying careers in Soviet state institutions. These practices did not necessarily exist in opposition but were instead synchronised with each other¹¹. “8 mm LIFE” depicts footages of people

⁹ Rigney A. Cultural Memory Studies. Mediation, Narrative, and the Aesthetic // Routledge International Handbook of Memory Studies / eds. A. L. Tota, T. Hagen. London, 2016. P. 67.

¹⁰ I rely here on Sara Ahmed’s concept of promises of happiness. In her conceptualisation happiness is situated in privileged social institutions, such as heteronormative family, gender norms, employment etc., and as such it conceals the inequalities and oppressions behind the imagination of happy life. Home movies are a form of remembering and reproducing happiness of then and now—personal and national happiness (*Ahmed S. Promises of Happiness*. Durham, 2010. P. 26).

¹¹ Soviet Society in the Era of Late Socialism, 1964–1985 / eds. N. Klumbyté, G. Sharafutdinova. Lanham, 2012. P. 12.

conforming to the communists and to the Soviet ideology. This enables to identify memory layers and see the attitudes of people commenting the footages in the present.

The people in the studio often feel the need to justify themselves, pointing to uncertainties with which their plans and lives were saturated. They even deny conforming to the communists as this evokes shame today. An example of this is a footage of a warm welcoming of a member of the Estonian Communist Party visiting a small town in 1970s. The man from the town who shot the film claims that he has no memory of the event having taken place at all. On the one hand, the film destructs the popular narrative template of Estonian history according to which there is a clear divide between communists and true Estonians. On the other hand, the footages imply a male voice, gaze and agency, denying the historical subjectivity of women. There is a close-up of a woman smiling to the camera and posing with flowers, waiting for the special guests. She interacts with the man behind the camera but is denied her own historical subjectivity.

The series “8 mm LIFE” was shown on the Public Broadcasting—that is traditional and national in its programme and structure. It has only since 2015 a channel in Russian. Most of the programmes are in Estonian and for Estonians. It is therefore not surprising that the call for the series was announced only in Estonian and that the series omits ethnic minorities. The films are with only one exception shot by ethnic Estonians. This exception is a footage by a Russian Sergei Didyk—a photographer who shot for the clothes factory in 1970s. Didyk is depicted in the studio commenting his work and the off-stage footages of female models. These are eroticised images of naked women by the sea. On the one hand, showing sexually objectified images of women brings forth the male gaze of the series. On the other hand, focusing on his professional not private life further reinforces the invisibility of Russians in the everyday life. Furthermore, showing a footage of a Song Festival coupled with patriotic songs after Didyk’s film, brings to the fore the national subtone of past and history (functioning like some sort of a damage control—depicting stories that do not subvert the coherent national self-image).

All in all the assemblage of the footages, their authorship, the editing, the added music and the people invited to the studio play a role in re-constructing the past and in bringing memory and gender into the process. The intimate and personal films from private archives, initially made for private use, have now travelled to new contexts and spaces. The series “8 mm LIFE” is about one of the possible journey.

Мадина Калашиникова

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
бакалаврская программа «Культурология»
студентка 3 курса
mkalashnikova2018@mail.ru

СОВЕТСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ФОТОГРАФИЯ 1960–80-Х ГГ. КАК ФОРМА КОНСТРУИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РАМОК ПАМЯТИ

В 2017 г. в свет вышел сборник статей “School Memories: New Trends in the History of Education”¹. Его публикация стала знаковым моментом в изучении темы школьной памяти, которая оказалась принята в ряд серьезных и актуальных тем академических исследований.

Более того, теперь историки образования могут обратить внимание не только на устройство образовательного процесса, но и на то, как он воспринимался его непосредственными участниками². Согласно концепции авторов этой коллективной монографии, школа — это не просто институция и исторический феномен, это целая «категория воображения»³. Преимущество этого исследовательского направления заключается в его непосредственной связи с настоящим. Анализируя воспоминания людей о своем школьном прошлом, будь то устные рассказы, мемуары или другие материальные носители, мы можем увидеть, какие стереотипы и представления о советском детстве и советской школе существуют в современном российском обществе.

При изучении школьной памяти в российском контексте неизбежным становится обращение к советскому прошлому, образовательная система которого сформировала фундамент современного школьного обучения. Внимание к периоду 1960–80-х гг. связано с тем, что это годы жизни наиболее активных сегодня старших поколений (приблизительно от 40 до 75 лет); их время учебы в школе пришлось именно

¹ *Yanes-Cabrera C., Meda Y., Vinao A.* School Memories: New Trends in the History of Education. Cham, 2017.

² *Ibid.* P. 6.

³ *Ibid.* P. 5.

на эти десятилетия. Так, целью этой работы является описание советской школьной фотографии 1960–80х гг. как средства формирования и трансляции школьной памяти, с особым вниманием к тому, как в фотографии отражается представление о классе (или школе) в качестве общности и как школьная фотография конструирует воспоминания людей об их советском прошлом и моделирует их рассказы о детстве.

Выбор фотографии как средства трансляции памяти и школьной фотографии как особого жанра связан с тем, что этот медиум изначально задумывался как мнемонический инструмент, даже спустя много лет после создания изображения запускающий работу памяти по определенному, заданному структурой фотографии, сценарию. Анализ работы этих механизмов даст ключ к пониманию того, как и каким образом конструировалась память советского человека о школе, какую схему, структуру воспоминаний они были призваны задавать.

Школьные снимки вездесущи — их можно обнаружить в архиве практически любой семьи, на сайтах мемориальной тематики, их даже используют художники в своих инсталляциях⁴. Это объясняется тем, что такие изображения — мощные проводники значений, как сугубо личных, так и исторически значимых. Они демонстрируют изменения окружающего мира, когда при просмотре апеллируют к разным слоям индивидуальной и коллективной памяти⁵. Школьная фотография, подобно диплому или сертификату, является визуальным доказательством, которое удостоверяет принадлежность каждого запечатленного человека к определенному этапу прохождения социализации, его гражданство и даже национальную принадлежность.

Социальные рамки памяти понимаются мной в этой работе в соответствии с определением, предложенным Морисом Хальбваксом⁶, а именно как некие базовые «ориентиры», сформированные социумом, опираясь на которые каждый отдельный индивид припоминает или реконструирует свои личные воспоминания⁷. Так, внешний

⁴ *Elsbeth H. Brown, Thy Phu. Feeling Photography // Hirsh M., Spitzer L. School Photos and their Afterlives. Durham; London, 2014. P. 259.*

⁵ *Ibid. P. 255.*

⁶ *Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. М., 2007.*

⁷ *Зенкин С. Морис Хальбвакс и современные гуманитарные науки // Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. С. 11.*

облик, манера съемки и дизайна советской школьной фотографии 1960–80-х гг. призваны были конструировать социальные рамки памяти будущего выпускника о его школьных годах и детстве в СССР в целом, а также представлять класс и школу как определенного типа социальную общность.

Это исследование основано на 13 интервью, в процессе которых мои информанты демонстрировали домашние фотоархивы. Критерием для выбора информантов было время обучения в средней школе (1960–1985), наличие фотоархива хотя бы с несколькими школьными фотографиями. Моими собеседниками стали 9 женщин и 4 мужчины, родившиеся и выросшие в населенных пунктах бывшего СССР (Белорецк, Москва и Московская область, Архангельск и Архангельская область, Тула, Брянск, Новошахтинск), с разным уровнем образования и родом деятельности, которые сегодня проживают в Москве и ближайшем Подмосковье. Возраст информантов — от 45 до 70 лет.

Необходимо также указать и на роль самого исследователя, осветить его собственные отношения с главными действующими лицами, так как его действия и вопросы непременно видоизменяют поведение тех, кого он изучает. Немаловажно, что разница в возрасте между мной и информантами составляла от 25 до 49 лет. Для них я неизбежно оказывалась в возрастной категории их детей или внуков, не имеющих опыта жизни в советский период и нуждающихся в пояснениях по многим вопросам. С большинством интервьюируемых я не была знакома ранее, обычно это были родственники или друзья родственников моих друзей-ровесников. Чтобы создать более естественную атмосферу, я проводила все беседы дома у информантов. В целом устный рассказ человека по канве фотографий зависит от множества факторов и сочетает в себе считывание «кодов» о школе, оценку советского прошлого, воспоминания о семье, детстве и месте, где человек вырос. Единственная просьба, которую я адресовала им перед встречей, — найти свои школьные фотографии.

Еще одним важным аспектом этой работы стал разбор рекомендаций из советских методических пособий для фотографов по съемке в учебных учреждениях. Студентов техникумов и учебно-производственных комбинатов, будущих фотографов службы быта, специально обучали технике съемки в школах. В пособиях описывалось, как делать официальные групповые и индивидуальные снимки, постановочные и репортажные фото, а также коллажи из портретов учеников и школьного руководства. Судя по дате выпуска первого такого

пособия, обнаруженного мной⁸, а также по фотографиям информантов, существовал канон школьной фотографии, который сложился в 1960-х гг. Стоит отметить, что сами эти изображения тоже задавали канон жанра, по мере того как они циркулировали и распространялись. Некоторые из рекомендаций для фотографов уже были нацелены на создание социальной рамки памяти.

Так, школьные фотографии реализовывали документалистскую установку на узнавание и идентификацию личностей, времени и места получения образования определенной ступени. Это позволяло информантам вспомнить имена и даже черты характера большего количества одноклассников и учителей, чем они предполагали изначально. Многие в начале интервью признавались, что не помнят почти никого из своей школы, однако при взаимодействии со снимками ситуация оказывалась иной.

Виньетка, в которую включались различные изображения, надписи и рисунки, играла ключевую роль в создании рамки памяти⁹. В нее включали фотографии местных ландшафтов и достопримечательностей, здание школы. Коллаж, таким образом, является документом, удостоверяющим не только личности учеников и учителей, но и определенное место, геолокацию, где происходило обучение, — как конкретное здание, так и район с областью, где оно располагается. Снимки «символов» этого места (Спасская башня и Главное здание МГУ в коллажах информантов из Москвы, памятники и административные здания маленьких городов и т. д.) призваны, видимо, вызывать определенные связанные с ним ассоциации, показывать его с нужных точек и ракурсов, напоминать непосредственно о крае, городе, где человек провел свои школьные годы. При этом в воспоминаниях информантов из маленьких городов и населенных пунктов неизбежно появляется ностальгия, сожаление по поводу переезда из места, где прошло их счастливое детство.

Кроме того, виньетки часто содержат в себе тематические рисунки, обычно связанные либо с учебным процессом (книга и глобус; множество мелких значков в рамке, символизирующих разные школьные предметы, и т. д.), либо с эпизодами советской истории (Гагарин с ракетой, олимпийский мишка). Последние, по всей видимости,

⁸ Бунимович Д. З., Маковер М. Д. Бытовая и техническая фотография. М., 1966.

⁹ Фельдман Я. Д., Курский Л. Д. Техника и технология фотосъемки: учебное пособие для техникумов. М., 1981.

призваны соотнести историю взросления с памятью о событиях недавнего прошлого — покорении космоса или Олимпиаде. Школьная фотография также одновременно сочетает в себе знаки современности, идеи «передового» образования (городской среды, страны в целом) и ретро-стилистику, придающую фотографиям архаизирующий характер (портреты, помещенные в овальные «медальоны»).

Особенности съемки и оформления школьной фотографии провоцируют ностальгические воспоминания у зрителя-обладателя снимка. На социальную рамку памяти также влияют композиция, позы изображенных, наличие школьных атрибутов в кадре и прочие детали немонтажной фотографии. Например, социальную рамку памяти определяет присутствие/отсутствие на фотографии учителей, при этом это будет разная рамка, в зависимости от того, изображен ли один учитель или несколько, во главе с директором или нет, и где все они расположены. Для немонтажной фотографии характерно расположение преподавательского состава в самом центре композиции. Причем если это группа учителей вместе с директором, то они предстают на фотографии в качестве центрообразующих элементов школы как институции, которой они «управляют». Если же на групповом фото присутствует только классная руководительница, то такая композиция будет подчеркивать ее роль «второй мамы», вокруг которой собрались ее «дети». В коллажах, как правило, портреты учителей и руководства помещены в верхний ряд, что подчеркивает их верховное положение в школьной иерархии. Так, коллаж напоминает схему, где друг от друга отделены «страты» изображаемой группы.

Социальная рамка памяти «о школе» дополняется и видоизменяется, будучи помещенной в личный архив — различные подписи, наличие любительских снимков, групповые фото из других институций, расположение фотографий в альбоме и форма их хранения в принципе влияют на структуру, характер и подробность воспоминаний обладателя. При этом корпус любительских фотографий условно противопоставляет себя официальной съемке, так как допускает разнообразие поз, сюжетов, выражений лица и прочих деталей, раскрывающих особенности взаимоотношений и личностей учеников. Рассказы информантов, в чьих архивах нашлись любительские фотографии из школы, отличались более подробными историями из школьной жизни, трепетным отношением к тому, «как тогда было». Советский быт идеализируется информантами — подчеркивается доброжелательность друг к другу, «семейность» и высокий уровень доверия между людьми.

Примечательно, что в специфических условиях каноны официального школьного снимка могли нарушаться. В личном архиве одной информантки, которая провела все детство в станице на Кубани, есть «переходные» фотографии, находящиеся на границе официального и любительского снимка. Они делают рассказ о школьных годах ностальгическим повествованием о своей «малой Родине», с более подробным погружением в детали микросоциальных взаимоотношений.

Многие информанты говорили, что когда-то показывали эти фотографии своим детям и внукам. Важно, что эти снимки являются не просто артефактами, сконструированными для меня как интервьюера, они существуют в контексте коммуникативной памяти, передачи воспоминаний. Таким образом, я на собственном опыте увидела, как эти люди транслируют память о советском прошлом младшим поколениям, как та конструкция советского, которую они выдают при показывании альбома, передается дальше. В докладе представлены и подробнее проанализированы школьные фотографии из архивов информантов.

Екатерина Кондакова

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» — Пермь
студентка 3 курса
katya.kondakova.98@mail.ru

**СОВЕТИЗАЦИЯ ДЕРЕВНИ В 1920–30-Е ГГ.
(ПО МАТЕРИАЛАМ ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВ
К. Ф. ИЗМАЙЛОВА)¹**

В 1920-х гг. началась ликвидация безграмотности советского населения. Эти изменения коснулись в том числе и деревни. Чтобы развить умение излагать свои мысли на бумаге, человеку рекомендовалось вести личный дневник. Подобная практика не только помогала человеку обучаться письму, но и способствовала овладению новым языком. Советский дневник представлял собой особый нарратив, иллюстрирующий конструирование советской реальности. Усвоение человеком идеологического дискурса сопровождалось сохранением прошлого опыта человека, жизнь которого проходила на стыке двух реальностей. Марк Липовецкий называет эти параллельные реальности «символической и практической, знающих друг о друге, постоянно встречающихся и сталкивающихся друг с другом в пространстве субъективности, но лишенных системных механизмов социальной коммуникации друг с другом»².

В данной работе на основе личных дневников К. Ф. Измайлова исследуются изменения жизненного мира человека, вызванные политикой власти, направленной на советизацию деревни в 1920–30-х гг. В работе с эго-документами для интерпретации социальных смыслов и практик применяется «уликовая парадигма» Карло Гинзбурга. Изучая субъективные переживания реальности отдельного

¹ Публикация подготовлена в ходе работы по проекту № 19-04-013 в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” (НИУ ВШЭ)» в 2019 г. в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5–100».

² *Липовецкий М.* Трикстер и «закрытое» общество // Новое литературное обозрение. 2009. № 100. URL: <http://www.zh-zal.ru/nlo/2009/100/li19-pr.html>.

человека, отраженные в личном дневнике, историк имеет возможность увидеть социальное прошлое. Ценность дневника как исторического источника, содержащего описание жизненных подробностей, эмоций, суждений, переживаний и интроспекции конкретного человека, подчеркивают современные исследователи К. Кобрин³ и Н. Суржикова⁴.

Константин Федорович Измайлов (1900–1942) — плотник, стекольщик, парикмахер, а также активный партийный деятель с личным подсобным хозяйством села Смоленское Смоленской волости Бийского уезда. Дневник, который Константин Измайлов ежедневно вел с 1923 по 1941 г., был обнаружен землячкой автора, краеведом Ангелиной Михайловной Ситновой. Всего было найдено 55 дневников, которые впервые были опубликованы в электронном архиве личных дневников «Прожито» в 2017 г. Перед публикацией Ангелиной Михайловной была проведена кропотливая работа по подготовке текста и его комментированию.

Наш герой родился в большой крестьянской семье. Он был одним из немногих в деревне, кто был научен писать и читать. В своих дневниковых записях К. Измайлов описывает значимые события, повседневные заботы семьи, привычные составляющие крестьянского быта на фоне серьезных изменений в стране. Дневники К. Измайлова не отличаются высокой степенью рефлексии, тем не менее они отражают практики конструирования нового советского человека. Рассказывая о жизни своей семьи и односельчан, ему удалось ухватить моменты, выбивающиеся из череды привычных практик, обусловленные переходом к иному государственному строю. Нарративы данного материала позволяют воссоздать картину жизненного мира деревенского жителя в 1920–30-х гг.

Социализация Измайлова проходила в обстановке деревенской жизни, в основе которой лежал прочно укоренившийся традиционный уклад. *Изменения медленно проникали в эту среду, и поколение за поколением воспроизводило прежние правовые обычаи, морально-нравственные, этические нормы и правила поведения. Статичность позволяла сохранить в селе старые ценности, которые*

³ Кобрин К. Похвала дневнику // Новое литературное обозрение. 2003. № 61. С. 289.

⁴ Суржикова Н. Эго-документы: интеллектуальная мода или осознанная необходимость? // История в эго-документах: исследования и источники. Екатеринбург, 2014. С. 6–13.

поддерживали неизменность привычного порядка. Внутренняя социальная жизнь крестьян представляла сложную сеть неофициальных связей родственных, дружеских, соседских взаимоотношений, скрепленных пространственной близостью, взаимопомощью и поддержкой. Общинные устои не просто координировали повседневность и быт крестьянина, а отражали, как отмечает В. Б. Безгин, « всю глубину его духовно-нравственного сознания, олицетворяли не просто арифметическое соединение крестьян, а нечто большее — соборное соединение, имеющее характер высшего закона»⁵. Жители деревни могли контролировать социальное поведение друг друга и предотвращать возможные девиации односельчан.

Преобразования первых десятилетий советской власти коренным образом изменили прежний крестьянский уклад⁶. «Культурные традиции и институты деревни» были серьезным препятствием для правительства, стремящегося установить контроль, поскольку «государство осознавало, что крестьянская культура по своей природе или потенциалу содержит в себе элементы сопротивления»⁷. Чтобы преодолеть традиционность, в деревне создавались новые институты — партийные ячейки, учреждения местной административной власти, колхозы, подавляющие ее прежнюю автономность. Новая культурная политика власти пошатнула основные ценности, на которых зиждилась крестьянская повседневность. Разрушалась община, некогда неотъемлемая часть деревенской жизни, распространялись атеистические идеи, насаждались новые праздники, поддерживающие советскую идеологию. Нововведения имели воздействие на мировоззрение крестьян, меняя их обыденное восприятие действительности. По материалам официальных источников можно сказать, что деревня стала по-настоящему советской. Однако в советской реальности имплицитно все же сохранялось наследие дореволюционного периода⁸, о чем свидетельствуют, например, сохранившиеся эго-документы.

⁵ Безгин В. Б. Крестьянская повседневность (традиции конца XIX — начала XX века). URL: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/Bezg.

⁶ Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М., 2008. С. 229–251.

⁷ Виола Л. Крестьянский бунт в эпоху Сталина: коллективизация и культура крестьянского сопротивления. М., 2010. С. 53.

⁸ Лебина Н. Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии 1920–1930-х годов. СПб., 1999. С. 319–323.

Одной из важнейших сторон советизации была необходимость освоения человеком нового дискурса⁹. В городской среде переход на советский язык осуществляется в связи с распространением новых социально-политических структур. Существовала жизненно важная необходимость правильно говорить и писать, используя эти навыки в нужных ситуациях. Такое умение давало человеку много преимуществ, а неумение вызывало подозрения. Американский историк Стивен Коткин под необходимостью употреблять новые термины понимал «“игровое поле”, где люди усваивали правила игры городской жизни», благодаря которым «люди становились участниками общественной жизни или, если угодно, членами “официального общества”»¹⁰.

Иначе дело обстояло в деревне, где длительное время сохранялся старый уклад и куда все новое проникало медленнее. В дневнике К. Измайлова можно увидеть, как в одной из изложенных мыслей пересекаются два разных языка: «Деревня ударно готовится к Михайлову дню»¹¹. Термины властного дискурса накладываются на диаметрально противоположную область религиозных традиций.

При описании деревенского быта в дневнике герой использует несколько параллельных нарративов. С одной стороны, крестьянский нарратив, состоящий из привычных для деревенского жителя практик: работа в поле, уход за скотом, заботы по хозяйству. С другой — новая партийная повседневность. Она включала в себя партийные собрания и конференции с чтением докладов, занятия в школе по ликвидации безграмотности и постановки спектаклей в сельском нардоме. В простую деревенскую жизнь входит идеологический дискурс, и жизнь героя складывается из причудливого переплетения двух реальностей: «Сегодня празднование 9-й годовщины Октябрьской революции!!! В 2 часа дня митинг около райкома ВКП(б). Собралось много народу. Вечером в нардоме торжественное заседание в честь

⁹ *Кабачков А. Н.* Конструирование нового человека: опыт 1930–40-х годов // Уроки Октября и практики советской системы. 1920–1950-е годы: Материалы X международной научной конференции. Москва, 5–7 декабря 2017 г. М., 2018. С. 825–838.

¹⁰ *Коткин С.* Говорить по-большевистски // Американская русистика. Вехи историографии последних лет. Советский период. Самара, 2001. С. 282.

¹¹ *Измайлов К. Ф.* Дневник. Запись от 20.11.1927 // Прожито. URL: <http://prozhito.org/person/1629>.

Октябрьской годовщины, приветственные речи. <...> С утра работал в конюшнях по-домашности. Скот весь дома держу: три коня и пять коров»¹². С появлением нового измерения герой учится правильно его описывать, используя готовые выражения из газетных сводок.

Сочетание нового и старого в деревне в 1920–30-е гг. прослеживается на примере досугового нарратива, частью которого являлись питейные практики. Пристрастие к спиртному может быть рассмотрено в качестве традиции досоветского деревенского быта. Алкоголь являлся неотъемлемой частью повседневной жизни крестьян, сопровождая хозяйственные работы, семейные посиделки и праздники. Отношение к пьянству было снисходительным, если только злоупотребление им не имело пагубного влияния на ведение хозяйства. Односельчане могли лояльно взирать на разгул соседей по праздникам, в то время как трезвость могла вызывать подозрения¹³.

Дневник позволяет взглянуть на пьянство в новой социокультурной ситуации: наложение советских форм (праздники, партийные мероприятия) на традиционные ритмы деревенской жизни. Константин Измайлов описывает эти ситуации в подробностях, комментируя их. Используя материал этой рефлексии, мы можем увидеть, как употребление алкоголя выходит за рамки нормативной крестьянской жизни: «После митинга полилось рекой вино по селу! Запили и отработники, коммунисты, служащие, рабочие, колхозники, единоличники в честь 1 мая! И сегодня, кстати, первый день Пасхи»¹⁴. Мы видим, как в селе наравне с советскими праздниками продолжают сохраняться старые религиозные обряды, сопровождаемые спиртными напитками.

Сельское празднество в народном мировосприятии дореволюционной России было тесно связано с выпивкой. К церковным праздникам готовились заранее и ждали их с большим нетерпением. Это был не только способ эмоциональной разрядки после продолжительных дней тяжелого труда, но и прием сплочения деревенских жителей и укрепления крестьянской общины. Пьяные праздники у крестьян чередовались с периодами полевой страды. Работа в поле предполагала большие усилия, плохо совместимые с пьянством. Земля для деревенского обывателя всегда представляла особую ценность, поэтому

¹² Там же. Запись от 07.11.1926.

¹³ *Безгин В. Б.* Крестьянская повседневность.

¹⁴ *Измайлов К. Ф.* Дневник. Запись от 01.05.1932.

к вопросу обработки земли подходили чрезвычайно серьезно. От этого зависела жизнь большой крестьянской семьи.

С приходом новой власти происходит разрушение старого порядка и прежний социальный контроль ослабевает. На смену им приходит структура советских организаций, воспроизводящая иные регламенты жизни. Без привычных жизненных норм и ценностей, когда община и традиция теряют авторитет, крестьянству становится тяжелее выстраивать отношения с алкоголем. Результатом неконтролируемого пьянства становится рост девиантного поведения крестьян: «Днем проводится митинг на площади. Участвуют все организации и колхозы села. Погода благоприятная. День теплый. Езда продолжается на санях. Вечером играю на сцене в пьесе “Расплата” в двух действиях. Народом заполнен до отказа народом. Буфет, лотерея. Потом пьянство, драки, аресты. Пьянство вылилось в открытую форму»¹⁵. Измайлов становится свидетелем всеобщего кутежа среди односельчан и делится этим значимым, по его мнению, знанием со своим дневником: «Второй день торжественно празднуется населением Пасха! Везде и всюду все честные и нечестные, беспартийные и партийные пьяны, гуляют, пьют, поют. Хотели было проводить собрания по районам с беднотой о посевной кампании — нигде никто не собирается, праздник, мол, собрания потом можно»¹⁶. Попойки становятся причиной столкновения с органами общественного порядка, нарушения крестьянами принятого рабочего распорядка. Такие социальные явления становятся обычными для жизненного мира Константина Измайлова.

Несмотря на девиации, к пьянству в деревне относились спокойно. Но недовольство вызывали случаи употребления алкоголя членами администрации. Между крестьянскими мужиками и представителями местной власти выстраивалась дистанция: «Вся административная сволочь стоят горой друг за друга»¹⁷. Членов руководящих структур считали «чужими» и пьяный разгул с их стороны становился неприемлемым и вызывал осуждение: «В селе гульба, пьянство вовсю со стороны местной власти...»¹⁸ К местной власти относились с недоверием, поскольку ее вседозволенность и привилегированность отталкивала жителей села: «Все были на аэродроме!!!

¹⁵ Измайлов К. Ф. Дневник. Запись от 07.11.1931.

¹⁶ Там же. Запись от 16.04.1928.

¹⁷ Там же. Запись от 22.06.1927.

¹⁸ Там же. Запись от 09.01.1924.

Недовольствие среди массы было: на самолете ездила только администрация. Из вольных граждан никто не ездил на самолете...»¹⁹ Несомответствующее новым культурным стандартам поведение отстраняет власть от той реальности, в которой существует остальное сельское население.

Через анализ дневника К. Ф. Измайлова в статье были рассмотрены различные грани процесса советизации деревни в первые десятилетия новой власти. «Человеческие документы», в отличие от делопроизводственных, законодательных источников и газет, позволяют увидеть, как реализовывался коммунистический проект не со стороны государственной машины, а сквозь призму маленького человека. Конструирование нового человека сопровождалось изменениями жизненного мира индивидуума. Освоение нового идеологического дискурса и фоновых практик при сохранении прошлого опыта приводило к наложению друг на друга двух социальных реальностей. Это, с одной стороны, помогало приспособливаться к непривычным условиям, а с другой — приводило к распространению социальных аномалий.

¹⁹ Там же. Запись от 08.02.1927.

Юлия Ленъ / Yuliya Len

University of Tartu, Estonia
Institute of Cultural Research
Master student
lenyuliya@gmail.com

DESTRUCTION OF AN OLD JEWISH CEMETERY OF BERDYCHYV (UKRAINE) IN 1929–1930 IN THE CONTEXT OF THE SOVIET NATIONAL AND RELIGIOUS POLICIES

Sovietization of 1920s was accompanied by active restructuring of urban space. Streets' and squares' renaming, creating new building and destruction (or expropriation) of old cult edifices, replacement of old imperial memorials by monuments devoted to new heroes served to change sacral vector of a city, the symbolic meaning of its structure. Everything that embodied sacredness in prerevolutionary period insulted new shrines of Soviet epoch¹. In some cases, the measures, that were taken for urban redevelopment caused hot discussions and intricated conflicts as they were contrastingly interpreted by different actors.

In 1929–1930 an old Jewish cemetery was destroyed in the town of Berdychyv and it was replaced by a city park. This case is usually depicted as a hardly conflicted event, just realization of Soviet policies in urban planning with only some complications. Based on the archival materials gathered in Central State Archives of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine, Central State Historical Archives of Ukraine in Kyiv, Archives of Ukrainian Research Institute of Archival Affairs and Record Keeping and State Archives of Zhytomyr Region I would like to look at this case as an example of multilayered conflict, involving different branches of Soviet authorities, as well as the Jewish community and the local museum which became a crucial moment in methods of embodiment of national and religious policies in early USSR.

¹ *Bemporad E.* *Becoming Soviet Jews: the Bolshevik Experiment in Minsk.* Bloomington, 2013. P. 116. On the symbolic policies of the Soviet authorities see also: *Kotkin S.* *Magnetic Mountain. Stalinism as a Civilization.* Berkeley, 1995; *Graeme G.* *Symbols and Legitimacy in the Soviet Politics.* Cambridge, 2011; *The Landscape of Stalinism: The Art and Ideology of Soviet Space / ed. E. Dobrenko, E. Naiman.* Washington, 2003.

In order to understand the origins of the conflict it's necessary to make sense of its symbolic role in the life of the local Jewish community. Its history dates back to the 16th century, as well as the existence of cemetery. Since the 18th century until the Second World War, Jewish people made up the majority of the local population². At that time the town became one of the Hasidism centers, where significant figures of that religious movement lived, for example Lieber Eliezer the Great. His tombstone became the object of pilgrimage for Jews from many place, and numerous legends were created about this person.

In 1793 when Berdychiv became part of the Russian Empire, the Jewish community was subjected to official policies, especially considering their civil rights, freedom of settlement, religious and cultural assimilation. Synagogues and cemeteries belonged to the Jewish community and local authorities mainly dealt with them for administrative and financial reasons.

Berdychiv went under the control Soviet authorities in 1919. Soviet authorities started active national and religious policies. The situation with the Jewish community was specific as it was simultaneously a national minority and religious community. Besides, due to nationalization, cemeteries, synagogues and other Jewish buildings were no longer the property of the community. In 1923 the actively used Jewish cemetery was put under the responsibility of the city communal services. Synagogue buildings in the city and the district were gradually given to different Soviet institutions.

At the same time the local Jewish community was subjected to the policy of nativization (korenization). Its character was rather intricate. T. Martin suggests to look at it through the prism of division of “soft” and “hard” policies³. “Hard” policies reflected the priority values and goals of the Soviet government and were implemented more by means of directives, orders and even terror. The hard line was under the control of

² For the Jewish population rate in Berdychiv see: Бердичев // Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1. Иерусалим, 1995. URL: <https://eleven.co.il/diaspora/communities/10543>; Berdichev // The Nahum Center for Jewish Peoplehood, Beit Hatfutsot. Unit # 71020. URL: http://www.berdichev.org/berdichev_beth_hatfutsot.pdf. On pre-soviet history of Berdychiv see: Горобчук А. П. Бердичів. Історія міста від заснування до сьогодення. Житомир, 2016; Субботин А. П. В черте еврейской оседлости. Отрывки из экономических исследований в западной и юго-западной России за лето 1887 г. СПб., 1890. С. 97–129. URL: http://berdicheva.net/index.php?categoryid=8&p600_bookid=7&p600_page=0.

³ Martin T. The Affirmative Action Empire: Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. New York, 2001. P. 5.

executive authorities (city council) and party bodies (special Jewish councils and Jewish sections of the Communist party were created⁴). The soft line was “affirmative”, enthusiastic and motivating. Regarding nativization, it praised the success of national creation, such as the development of education and culture, while the “hard” policies were responsible for fulfillment of the “proper” goals. From one point, it monitored that national minorities developed in the right direction on the way to modernization. From another point, it controlled that the national conciseness of some minorities wouldn’t be prevailing on socialistic values.

In 1924–1925 these policies mostly aimed to support the poorest segments of the Jewish population, especially their education and antireligious enlightenment. The latter had such forms as scientific lectures, disproving religious dogmas, issuing the newspaper “Bezbozhnik”⁵ (Godless), organizing clubs “Bezbozhnik” where theatrical performances about religious holidays and their “true” meaning were shown, and expropriation of cult buildings (synagogues) and their transformation into workers’ clubs.

Simultaneously scientific work in the field of Jewish culture and history was also rather active in those years under the leadership of the local city museum and its first director T. Movchanivsky⁶. There was created a Jewish sector of the museum, investigations were done in economical and art history of the Jewish community and also the interest emerged towards the old Jewish cemetery due to its ethnographic and historical meaning. All that was done in collaboration with The People’s Commissariat for Education, Institute of Jewish culture in Kiev, Odessa State Jewish Museum and Jewish expeditions of Archeological Commission of Ukrainian Academy of Sciences.

However, the minutes of different local councils evidence that by 1928–1929, the character of the ideological work gradually changed, as the policies of nativization and especially its antireligious direction had not been very successful. The protocols declared that Jewish philanthropic organizations maintained religious schools (kheders) for children and grown-ups. The defeat was explained by anti-Soviet work of clericals and bourgeoisie elements. The actions became more aggressive and during

⁴ *Gitelman Z.* Jewish Nationality and Soviet Politics: The Jewish Sections of the CPSU, 1917–1930. Princeton, 1972. P. 291.

⁵ Безбожник. 1923. № 1; Безбожник у станка. 1923. № 2–4, 7–10.

⁶ F. N. Movchanivsky (1899–1938) was a Ukrainian museologist and archaeologist. In 1925 he was appointed to organize district archive and museum in Berdichev and in 1928–1932 worked as deputy director for research in this museum.

1928–1929, and “hard” policies started to prevail. Almost all synagogues were expropriated. The decision was made to close religious schools, emphasize antireligious propaganda and urgently transform the old Jewish cemetery into a city park.

Interesting facts about the events can be learned from the reports of T. Movchanivsky. In 1928 T. Movchanivsky suggested to organize an ethnographical sanctuary on the part of the cemetery and at least to shift some of the tombstones to the museum that had a special Jewish department. But suddenly he encountered non-official obstacles local authorities⁷. In June, 1929 city communal services started preparation works for the park layout without any negotiations with the local museum. As a result, many tombstones were broken. It caused commotion among the Jews of the city, who were indignant by “the mockery over the bones and tombs of ancestors”. It pushed Molchanovskii for active investigation of the cemetery⁸.

The museum managers decided to make archaeological excavations in order to investigate if there were any material ritual items in the tombs of the 17–18th centuries (as it was denied by local Talmudists and Rabbins). The excavation in certain degree verified his hypothesis about ritual items. Thus, they found smoking pipes, nails, crock and glass pieces, locks “Jerusalem soil”. During the two weeks of archaeological work local people under the influence of “clergy” started protests with petitions against the excavations and rumours about forthcoming doomsday were spread.

However, the outcomes of the excavation were rather surprising in their consequences. The report ends with the ideological part where the author argues about the political influence of the archaeological work. Following him, it caused indeed a strong resonance among the local people, who were divided into two parts: “working people and clericals with sympathizers of petty bourgeois circles”⁹. All the process was accompanied by tempestuous discussions between museum workers and “Jewish soviet youth” versus Talmudists and ravnate. Main topics under consideration were the following: demolishing of the cemetery, doomsday, Hebrew scholarly issues etc. Because of an excited mob of about 1500–2000 who gathered on the cemetery militiamen had to safeguard those who worked. Initially supporting the Talmudists, the mob gradually went over

⁷ Звіт про роботу за відкритим листом ч. 244 Мовчанівського Т. М. в 1929 році на Бердичівщині, 30 березня, 1930 // Науковий архів Інституту археології НАН України (далее — на ИА НАН). Ф. ВУАК. Оп. 309/5. Л. 2.

⁸ Ibid.

⁹ Ibid. Л. 7

to the other side after “defeat of ravines in disputes about ornament issues, translations”¹⁰ and ritual findings, after what “clerics” cursed all those who goes to the cemetery and threatened people with doomsday in case of demolishing of Tzadiks’ tombs but they were whistles and mocked. All these events gave start for an active antireligious propaganda among working people of the city.

To my mind the depicted events revealed a complex and intricate system of power relations, actual at that moment in Berdichev. Following Foucault’s position, power relations are not reduced to the opposition of oppressors and oppressed but a dynamic structure, more resembling rhizome where power is represented on many levels and lower levels of power can be not imply the reflection of central power but also its roots¹¹. Here we can see at least four agents of this structure each of whom had its aims and “weapons” and who simultaneously act against and together with the others:

1. Local authorities intended to replace the cemetery by a park.
2. Museum workers interested in preservation of the cemetery as an ethnography and historical monument of Jewish culture.
3. “Clerics”—religious authorities of Jewish community aiming to keep status quo.
4. “Common people” with non-clear aims, probably.

This situation involved them into a knotty conflict. The territory of the old Jewish cemetery became a symbolic battle field of different values and policies.

From one side, Jews were considered a national minority, and their folklore, and especially material culture was supposed to be preserved. In 1926 special decree was issued about “Monuments of culture and nature” to protect spots of high importance and evidence of folk culture and ethnography. Following this decree, the local museum initiated several projects to protect synagogues in Berdichev district. They also organized a separate Jewish department in the museum.

From another side, Jews were a religious community as well. By the end of 1920s the antireligious agitation became especially important. Seemingly it was important to overcome religion by scientific and ideological means within so called political education (politprosvet). Thus, the

¹⁰ Звіт про роботу за відкритим листом... Л. 7.

¹¹ *Foucault M.* Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972–1977. Brighton, 1980. P. 115.

replacement of the cemetery into a public park in Berdichev seems to be in one line with reorganization of numerous synagogues in Berdichev district into “Houses of Culture” (Dom Kul’turny): symbolic act of transforming old and out-of-date spot of oppression and prejudice into new and progressive places of freedom and emancipation.

Thus, the cemetery became a disputable issue between the museum and city council. I can suppose it could happen as a result of really confusing and contradictory legislation in that question. In some degree it continued the tendency typical for “Jewish question” in Russian Empire, when local authorities were often confused by the number of laws and their mutual discrepancy¹². Nevertheless, it was for sure a representational case of Soviet policies of secularization and reformatting of urban space¹³. It caused the conflict in which museum workers for some period in some way united with the “retrogrades” in their attempt to save the cemetery. To prove the importance and of the cemetery Molchanovskii used not only documentary data, but also applied to folklore, probably while interviewing ravines and “common Jews”. It’s interesting, however the way he interprets the data he obtained. It’s done in terms of Marxist ideology (class struggle) and general scientism discourse considering folk beliefs and practices as prejudices, superstitions and vestiges of the past. Finally, he uses this methodological apparatus to defeat “Talmudists and Ravines” and thus to conquer the liking of the mob (“workers”).

Another conflict of interests, to my mind, was the spot itself. If in pre-revolutionary Russia a cemetery was owned by a community (and all the territorial disputes were usually resolved by judicially), then in Soviet Ukraine community was not more a legal subject and land was communal. Thus, the position of local Jews who were eager to save the cemetery was not strong in that sense, and could only be reinforced by the museum workers, who were also interested in preserving it (though were driven by different aims). However, this alliance collapsed because of ideological reasons (initially being influential, the “core” group of Jewish protestors lost their impact on the majority, if the report of Movchanivsky reflected it more or less relevant). Finally, the ideological victory over “clergymen” was followed by factual demolishing of the cemetery.

¹² *Nathans B.* Beyond the Pale: the Jewish encounter with late imperial Russia. London, 2002.

¹³ About reformatting of cemeteries in the USSR see: *Соколова А.* Новый мир и старая смерть: судьба кладбищ в советских городах 1920–1930-х гг. // Неприкосновенный запас. 2018. № 1. С. 74–94.

Анастасия Павловская

Факультет истории ЕУСПб,
младший специалист-исследователь
редактор проекта «Прожито»
anast.pavlovska@gmail.com

«ВТОРАЯ БЛОКАДА»: ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА О ГОЛОДЕ 1919–1920 ГГ. В ПЕТРОГРАДЕ

Образы «героической обороны Петрограда» во время Гражданской войны стали одним из ключевых сюжетов, использовавшихся в политике памяти в блокадном Ленинграде¹. Акторы политики памяти (такие как, например, Ленинградское отделение Института истории ВКП(б)) активно использовали мобилизующую силу мифа об обороне Петрограда наряду с мифом о Ленинграде как «колыбели трех революций», создавая очевидный смысловой параллелизм. Помимо «официальной памяти» о Гражданской войне, вероятно, имевшей основной целевой аудиторией молодежь и ленинградцев, обосновавшихся в городе в 1920–30-е гг., существовала и индивидуальная память о петроградском голоде 1919–1920 гг. Обращаясь к оппозиции индивидуальной памяти и политики памяти о Гражданской войне, можно задать следующий вопрос: как разные акторы в блокадном Ленинграде обращались к образам Петрограда в годы Гражданской войны и конкретно в блокаду 1919 г.?

Алексис Пери в своей книге “The War Within”², анализируя блокадные дневники ленинградской молодежи, показывает, что молодые люди, не имевшие опыта петроградского голода 1919–1920 гг., активно перенимали «романтическую» и «ностальгическую» форму рассказа о Гражданской войне³. Владимир Пянкевич в монографии «Люди жили слухами»⁴ также заостряет внимание на мобилизующей силе памяти об осаде Петрограда, выраженной, однако, в другом:

¹ Воронина Т. Помнить по-нашему: соцреалистический историзм и блокада Ленинграда. М., 2018. С. 47–50.

² Peri A. The War Within: Diaries from the Siege of Leningrad. Cambridge, 2017.

³ Ibid. P. 222–228.

⁴ Пянкевич В. Л. Люди жили слухами: неформальное коммуникативное пространство блокадного Ленинграда. СПб., 2014.

исследуя дневники и воспоминания представителей старшего поколения, он показывает влияние воспоминаний о голоде 1919–1920 гг. на стратегии выживания ленинградцев⁵. В этой работе я также исследую индивидуальную память о голоде в Петрограде, однако с другой перспективы: если официальная риторика ставила знак равенства между героикой одного периода и другого, то как обращение к воспоминаниям помогало жителям заблокированного города определить, чем является и не является блокада Ленинграда в сравнении с Петроградом времен Гражданской войны?

Анализируя «Записки блокадного человека» Лидии Гинзбург, Рикардо Николози использует оппозицию «катафатики» и «апофатики», предложенную Павлом Медведевым для анализа литературных текстов. С точки зрения Николози, можно выделить два способа рассказа о блокаде Ленинграда: катафатический нарратив свойствен советскому официальному дискурсу («блокада является чем-то»), в то время как в «Записках...» Гинзбург просматривается нарратив апофатический («блокада определяется через то, чем она не является»). Последнее наблюдение можно распространить на ряд других блокадных эго-документов.

Источниками этого исследования послужили дневники жителей блокадного Ленинграда, авторы которых делают записи о своем опыте, связанным с голодом в Петрограде 1919–1920 гг. Произведенная с помощью электронного корпуса дневников «Прожито»⁶ выборка показывает, что все их авторы являются представителями интеллигенции, а их годы рождения варьируются от 1869 до 1903 г., т. е. в 1919 г. самому старшему было 50 лет, самому младшему — 16, а в 1941 г. — 72 года и 37 лет соответственно.

Подобно тому как происходило осмысление Гражданской войны в рамках официального дискурса, авторы дневников, вспоминая о голоде 1919–1920 гг., создают параллели: они сопоставляют свои воспоминания с той действительностью, в которой они находятся в момент написания текста. Это сравнение не случайно — его закономерность связана не только с постоянным появлением параллелей в официальном дискурсе, но и с личными ощущениями ленинградцев, до блокады считавших состояние Петрограда в Гражданскую войну

⁵ Там же. С. 271–274.

⁶ Электронный корпус дневников «Прожито». URL: <http://prozhito.org>. На момент написания статьи на сайт загружен 191 текст блокадных дневников, в том числе часть дневников, использующихся в статье.

«образцом» гуманитарной и урбанистической катастрофы. Как писал Д. И. Каргин, «до войны неоднократно вспоминали мы с женой голодные петроградские дни 1918–1919 гг., и всегда, оглядываясь назад, удивлялись, как мы могли перенести, и приходили к заключению, что при повторении таких дней мы уже не будем в состоянии пережить их»⁷.

Обращение к памяти о Гражданской войне в эго-текстах можно также объяснить «чувством исторического»⁸, ощущением себя частью истории, распространенным среди авторов блокадных дневников. Во-первых, это ощущение могло быть выражено в прямом сопоставлении современности и событий, признанных «историческими», как в дневнике журналиста Ксаверия Сельцера (ок. 1880–?): «...можно назвать войну отечественной (она такая и есть: ведь вся страна уже вовлечена в войну), можно ее назвать священной, справедливейшей из войн, но едва ли можно повторить слово в слово 1812 год. Это совсем не 1812-й, даже не 1919-й, хотя все время и проводят параллели...»⁹ Во-вторых, оно выражалось и в тяге к документированию и составлению хроник, не обходящихся без отсылок к «истории», как в дневнике искусствоведа Георгия Лебедева (1903–1958), даже сравнивающего себя с «отцом истории»: «Запомни! Это должно остаться в памяти навсегда. Я почувствовал себя Геродотом. И с той же мерой исторической ответственности»¹⁰.

Можно выделить три типа сравнений, которые находятся в прямой зависимости от времени появления дневниковой записи. Уже в самом начале блокады, когда продовольственный кризис еще не был сильно ошутим для населения города, авторы дневников фиксировали схожесть происходящего с событиями двадцатидвухлетней давности, при этом полагая, что текущая ситуация выглядит лучше. Так, например, Мария Коноплева (1871–1946) — искусствовед, сотрудница Эрмитажа — сделала запись о посещении кафетерия в сво-

⁷ Каргин Д. И. Великое и трагическое. Ленинград 1941–1942. СПб., 2000. С. 35.

⁸ О «чувстве исторического» в дневниках 1930-х гг. см.: Хельбек Й. Революция от первого лица: дневники сталинской эпохи. М., 2017. С. 82–92.

⁹ Сельцер К. Н. Заметки «в осаде» // Блокада глазами очевидцев. Дневники и воспоминания / сост. С. Е. Глезеров. СПб., 2012. С. 124–151.

¹⁰ Из дневника Г. Е. Лебедева // Балтун П. К. Русский музей: эвакуация, блокада, восстановление. Из воспоминаний музейного работника. М., 1981. С. 120.

ем дневнике 8 сентября 1941 г.: «Я ела стоя, так как все “сидячие” места были заняты, и вспоминала 1919–1920 года: как быстро в дни войны наши столовые до них докатились! Та же хорошо знакомая вобла, то же отсутствие приборов и та же раздраженная жадная толпа! Разница только в количестве хлеба: тогда паек на человека составлял 100 грамм, теперь 300 гр, и кроме того, можно купить два кусочка хлеба в столовой»¹¹. Даже если авторы сентябрьских дневников предполагают, что блокада хуже, это связано в основном с ожиданиями, основывающимися по большей части на том же опыте 1919–1920 гг.: актер Феодосий Грязнов (1896–1948) 15 сентября 1941 г. записывает: «Неужели же будет то, что было в голодные годы гражданской войны. Нет, не может быть. Говорят, что, несмотря на пожар [на Бадаевских складах], в городе запасы продовольствия большие»¹².

Понимание того, что блокада Ленинграда оказалась гораздо страшнее, чем петроградские события 1919–1920 гг., приходит к авторам дневников по мере наступления холодов и уменьшения пайка, достигая пика в «смертное время»¹³. 30 ноября 1941 г. школьник Юра Рябинкин в дневнике пересказывает слова матери: «Сегодня, между прочим, мама мне говорила, что голод, который мы переживаем, хуже того голода, какой был в 1918 году... в 1918 году — по словам мамы — было в высшей степени развито так называемое “мешочничество”. Люди ездили в дальние деревни, там доставали хлеб, муку, масло, возвращались в Петроград и продавали из мешков все эти продукты, разумеется — за баснословные деньги. Но имевший тогда деньги был сыт, а сейчас может человек обладать миллионами, но, потеряв продовольственные и хлебные карточки на месяц, он неминуемо умрет с голоду, если только он уж не какой-нибудь феноменально предприимчивый человек»¹⁴. За три дня до того, как Юра сделает эту запись, переводчица Софья Островская (1902–1983) запишет: «Голод? Голод. Настоящий? Настоящий. Я знала голод времени

¹¹ ОР РНБ. Ф. 368. Ед. хр. 1. Цит. по: *Коноплева М. С. Дневник // Прожито*. URL: <http://prozhito.org/person/1998>.

¹² *Грязнов Ф. А. Дневник // «Доживём ли мы до тишины?»: записки из блокадного Ленинграда / сост. В. М. Ковальчук и др. СПб., 2009. Цит. по: Грязнов Ф. А. Дневник // Прожито*. URL: <http://prozhito.org/person/353>.

¹³ Устоявшееся в историографии блокады Ленинграда выражение было заимствовано из блокадных записей В. Бианки: *Яров С. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. Москва, 2012. С. 11.*

¹⁴ *Адамович А., Гранин Д. Блокадная книга. Кн. 2. М., 2005. С. 165.*

Гражданской войны.... Но это был не голод.... Настоящий голый голод пришел теперь. Оскал его ужасен. Перед усталыми глазами гримасничает развинченный скелет. Если ничего вскоре не переменится, я не знаю, что будет с жителями моего прекрасного города: ведь голод выступает теперь в оркестровом сопровождении артиллерии и бомбардировок с воздуха»¹⁵.

Та же Островская, впрочем, в конце января 1942 г. воспроизводит другой возможный «результат» сравнения. Обращаясь к воображаемым «культурным» европейским леди и джентльменам, она пишет: «Вы, всякие там европы, разве вы можете понять это до конца, вы, не знавшие голода и разрухи 1919–1920 годов, вы, не воспринимающие вашими мелкобуржуазными пятью чувствами переживания российского гражданина, *вторично вступившего* [здесь и далее курсив мой. — А. П.] в 1919 год в 1942 году!»¹⁶ Для Островской в этом фрагменте опыт Гражданской войны становится синонимичным и соразмерным опыту блокадному. Сравнивая их, она ставит знак равенства, подчеркивая тем самым инаковость опыта блокадника, дважды прошедшего через ад.

Наконец, подразумевая большую схожесть голода 1919–1920 гг. и блокады Ленинграда, авторы дневников сравнивают их для того, чтобы делать предположения, касающиеся областей, недоступных для них самих. Так, историк Георгий Князев (1887–1969), описывая ленинградских девушек в январе 1942 г. записывает: «В голод 1919–1920 г[одов] девушки и молодые женщины тяжело переживали физиологические особенности своего пола (отсутствие месячных очищений от недостаточного питания). Это особенно сказывалось и на их психическом состоянии; были даже нервные заболевания. Не знаю, как теперь»¹⁷.

Образы прошлого возникают в дневниках неслучайно. Многие авторы описывают их появление как нечто, спровоцированное окружающим (триггерами, «спусковыми крючками памяти»: образами, чувствами и т. д.), — это явление индивидуальной памяти А. Ассман называет «меня-память»¹⁸. В процитированном выше фрагменте из

¹⁵ Островская С. К. Дневник. М., 2013. С. 259.

¹⁶ Там же. С. 297.

¹⁷ Князев Г. А. Дни великих испытаний. Дневники 1941–1945 / отв. ред. Н. П. Копанева. СПб., 2009. С. 382–383.

¹⁸ Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика М., 2014. С. 127–131.

дневника М. Коноплевой таким триггером является образ столовой, почти в точности совпадающий с образом 1919 г. «Меня-память» характеризуется одновременно внезапностью своего появления (не всегда понятной даже ее носителю) — часто она связана с ощущением *deja vu*, кинематографичным, когда внезапные воспоминания появляются как кинокадры или сменяющиеся слайды. Эту «кинематографичность памяти» отмечает искусствовед Георгий Лебедев, описывающий в дневнике воспоминания, пришедшие к нему в театре в январе 1943 г.: «Вчера вечером, сидя в зале Филармонии, Нека заклинала: — Запомни! Это должно остаться в памяти навсегда... Валенки, ушанки, телогрейки, шинели... Кадр из блаженной памяти 1919–1920 годов. В зале температура ниже нуля... Хоры пусты. Партер заполнен только на одну шестую. Среди блестящих, белых с красным бархатом рядов — одинокие, черные, зябко скорченные фигуры»¹⁹. Практически аналогичное воспоминание появляется годом раньше в дневнике искусствоведа, чиновника Управления по делам искусств Андрея Бартошевича (1899–1949): «В Александринском театре открылись филармонические концерты. Зал переполнен, публика очень разная — много зеленой молодежи, много военных... и остатки старого Петербурга, завсегда[и] Филармонии. Сочетание позолоты, электричества с холодом, запущенностью помещения и очень своеобразной публикой чем-то напоминало 1919 год. Хотя тогда публика была иною — более мещанской и более заинтересованной»²⁰.

В заключение следует отметить, что обращение к образам Гражданской войны в блокадном автобиографическом письме являлось попыткой говорить о блокадной катастрофе языком предыдущего катастрофического опыта. Совершая апофатическую попытку определить, чем (не) является блокада Ленинграда, авторы блокадных дневников одновременно переопределяли коллективный опыт жизни в Петрограде времен Гражданской войны. В сознании ленинградцев два образа города — Петроград 1919-го и Ленинград 1941–1942 гг. — становились палимпсестом, части которого чем дальше, тем больше отличались друг от друга: в культурной памяти города новый «ленинградский» миф закрыл собой своего «петроградского» предшественника.

¹⁹ Из дневника Г. Е. Лебедева. С. 120.

²⁰ *Бартошевич А.* Блокадный дневник / публ., вступ. и прим. Л. Штакельберга // Звезда. 2011. № 6. URL: <http://magazines.russ.ru/zvezda/2011/6/ba1.html>.

Александра Пахомова

University of Tartu
Faculty of Arts and Humanities
PhD Student
aleks.pakhomova@gmail.com

**«ПРЕСОВЕТСКИЙ» ПОЭТ:
ПЕТРОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
СОЮЗА ПОЭТОВ И ФОРМИРОВАНИЕ СТАТУСА
«ПОЭТА» В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 1920-Х ГГ.**

Попытка определить статус пишущего человека в советском государстве сталкивается с существующим конструктом «советский писатель». Разъятие этого конструкта на две составляющие — «советский субъект» и «писатель» — обнажает необходимость рассматривать это явление в двух разных методологических плоскостях. С одной стороны, важен механизм становления советского субъекта в постреволюционную эпоху¹. С другой — акцент на роли писателя добавляет к механизму конструирования дополнительное

¹ Согласно точке зрения американского советолога Шейлы Фицпатрик, попытка человека найти свое место в пореволюционной действительности приняла характер сознательного «пересотворения» себя, создания определенной, в классовом отношении надежной, личности. Становление советского субъекта, по Фицпатрик, — процесс сотворения и отстаивания избретенной в первые пореволюционные годы идентичности (см. об этом: *Фицпатрик Ш. Срывайте маски! Идентичность и самозванство в России XX века.* М., 2011). В концепции О. В. Хархордина решающую роль в процессе становления советского человека играют дискурсивные практики, формирующие идентичность человека (его «советскую субъектность») (*Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: Генеалогия российской личности.* СПб., 2016). Также немаловажным для настоящего исследования является подход к рассмотрению отношений «интеллигенция — власть», развитый в работах С. В. Ярова: язык и практики сотрудничества интеллигенции с советскими институциями как череда компромиссных решений, не всегда осознанных, на которые влияли сложившаяся роль интеллигенции в общественном устройстве и которые претерпевали ряд трансформаций, вызванных разным отношением государства к представителям науки, искусства и образования (*Яров С. В. Конформизм в Советской России: Петроград 1917–1920-х гг.* СПб., 2006).

измерение, поскольку на самого писателя, как и на любого деятеля искусства советского времени, возлагалась миссия формирования у читателя определенных идеологии и идентичности. Значительная роль литературы в построении советской идеологии была обозначена в ранних программных документах партии большевиков: «Литературное дело должно стать составной частью организованной, планомерной, объединенной социал-демократической партийной работы»². Получается, что «советский писатель» конструирует определенное отношение к действительности, будучи сконструированным сам: «Советский писатель лишь в той мере может быть назван продуктом творчества власти, в какой сама эта власть осознала и институционализовала то, что Ленин называл “живым творчеством масс”»³.

Основная роль в формировании писателя на протяжении всего существования советской культуры отводилась разнообразным литературным институциям. Их взаимодействие в первые годы советской власти было настолько интенсивно, что сам период первой половины 1920-х гг. известен как «литературная борьба». Под целью этой борьбы может пониматься как стремление пролетарских писателей установить гегемонию пролетарской культуры в условиях, когда партия «не желала “культурной революции” и выступала за возможно более полное сохранение всех унаследованных культурных ценностей при условии их идеологически-критического усвоения»⁴, так и самоорганизация литературы, процесс «становления ее критического и теоретического самосознания, поисков наиболее обещающих, как казалось в послеоктябрьские годы, но отнюдь не однозначных путей и способов ее развития»⁵.

Литературные институции регулируют состав и качество литературного поля: одна из основных функций любого объединения —

² Ленин В. И. Партийная организация и партийная литература // Полн. собр. соч.: в 55 т. М., 1968. Т. 12: Октябрь 1905–апрель 1906. С. 101.

³ Добренко Е. Формовка советского писателя: социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб., 1999. С. 13.

⁴ Аймермахер К. Политика и культура при Ленине и Сталине: 1917–1932 гг. М., 1998. С. 64.

⁵ Муромский В. П. Литературные объединения 1917–1932 гг. в России (проблемы изучения) // Из истории литературных объединений Петрограда–Ленинграда 1910–1930-х годов: Исследования и материалы: [в 2 кн.]. СПб., 2002. Кн. 1. С. 13.

разграничение аудитории и присвоение части ее определенного статуса (в нашем случае — «поэта»). Можно отметить, что на всем протяжении существования советской литературы эта функция литературных объединений была едва ли не самой главной — принадлежность к писательской организации определяла жизненный и символический статус писателя; хотя расцвет этой практики пришелся на годы после создания единого Союза советских писателей⁶, зачатки такого конструирования литературного пространства мы находим уже в первые пореволюционные годы. Механизмы контроля над полем литературы формировались постепенно, и контроль осуществлялся не только «сверху», но и «снизу» — сами литераторы иерархизировали свою среду, наделяя определенным статусом одних и лишая его других. Говоря словами Пьера Бурдьё, «защита существующего в поле порядка предполагает охрану границ и контроль за доступом в поле»⁷.

В настоящем докладе мы хотим показать, как проходил процесс формирования этих регулирующих инстанций, как их динамика отражалась на статусе «советского» писателя и как изменялось наполнение этого статуса с течением времени. Принципиально важно то, что мы не рассматриваем эпоху после 1925 г., когда был установлен идеологический и правительственный контроль над литературой (постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 г.). Нас интересуют первые постоктябрьские годы (1920–1924), когда система такого контроля еще не была отлажена, общий курс партии на формирование литературы и культуры определенного типа не был разработан, а набор потенциальных траекторий становления «нового» писателя был гораздо шире, чем во второй половине 1920-х гг., когда литература в целом была поделена между «пролетарскими писателями» и «попутчиками».

Мы рассматриваем одну организацию — Петроградский (Ленинградский) союз поэтов в разные периоды его деятельности. Вслед за Т. А. Кукушкиной, историком литературных организаций Петрогра-

⁶ См. об этом: *Антипина В. А.* Повседневная жизнь советских писателей: 1930–1950-е годы. М., 2005; *Осокина Е. А.* За фасадом «сталинского изобилия»: распределение и рынок в снабжении населения в годы индустриализации. 1927–1941. М., 2008.

⁷ *Бурдьё П.* Поле литературы / пер. с франц. М. Гронаса // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 29.

да⁸, мы выделяем в деятельности Союза два периода: первый, с момента образования Союза в 1920 г. и до фактического прекращения его деятельности в конце 1921 г., и второй — восстановление Союза в начале 1924 г. и последующее существование до слияния с Всероссийским союзом писателей в 1926 г. Выбор именно этой литературной организации обусловлен ее заметной ролью в литературной жизни Петрограда (Союз поэтов, в отличие от других литературных групп, союзов и кружков, объединил почти все литературные силы города), хорошей сохранностью ее архива, что позволяет обращаться не только к официальным документам, но и к текущей документации (отчеты, записки, протоколы собраний)⁹. Помимо этого, история объединения дает возможность акцентировать внимание на коренной трансформации статуса писателя (т. е. того, кто имел право вступить в Союз), произошедшей на рубеже 1923–1924 гг.

Петроградское отделение Союза, образованное в 1920 г., первоначально ставило себе профсоюзные задачи — по воспоминаниям секретаря Союза, Вс. А. Рождественского, «заседания правления нового Союза проходили под знаком “материальной озабоченности каждого дня”»¹⁰. Такая деятельность в целом была характерна для литературных организаций рубежа 1910–1920-х гг.: улучшение быта литераторов, зачисленных как «нетрудящаяся» интеллигенция в последнюю категорию граждан для получения продуктов питания¹¹. Петроградское отделение отличалось ориентацией на писателей старшего поколения, начавших свою карьеру до революции (первым председателем организации стал А. А. Блок), — одним из положений

⁸ Кукушкина Т. А. Всероссийский союз писателей. Ленинградское отделение (1920–1932): очерк деятельности // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2001 г. СПб., 2006. С. 84–141; Всероссийский союз писателей (Петроградское отделение). Период становления. 1920–1923 гг.: автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2008; Всероссийский союз поэтов. Ленинградское отделение (1924–1929): Обзор деятельности // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 2003–2004 гг. СПб., 2007. С. 83–139. В настоящей работе вся фактическая информация, за исключением особо оговоренных случаев, почерпнута из последней работы.

⁹ Архив Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей хранится в ИРЛИ РАН (Ф. 291. Оп. 2).

¹⁰ *Рождественский Вс. А.* Как это начиналось: листки воспоминаний // День поэзии. Л., 1966. С. 89.

¹¹ *Кукушкина Т. А.* Всероссийский союз писателей (Петроградское отделение). Период становления. С. 11.

Союза было «говорить о стихах и читать стихи, чувствуя себя при этом свободными от требований литературной улицы»¹²: по этой же причине в Союз не принимали пролетарских поэтов. Союз поэтов таким образом не только очерчивает поле «поэзии» (заметим, что к этому времени в Петрограде уже был Союз писателей, так что необходимости в создании еще одной организации не было, так как под определение «писатель» подпадают и поэты) и выделяет «поэтов», но и декларирует свою преемственность дореволюционным кружкам и группам, стремясь сохранить культурную атмосферу начала века.

Несмотря на то что Союз позиционировал себя как профессиональный союз и определял свой круг задач как помощь литераторам в тяжелые пореволюционные годы, отбор претендентов для оказания помощи происходил по критериям чисто литературным: для выбора членов была создана Приемочная комиссия, оценивавшая поданные произведения и выносящая решение о принятии или непринятии в Союз (иными словами, определявшая, «поэт» или «не поэт» перед ней). О принципах отбора читаем в мемуарах Н. Павлович: «Особое внимание было обращено на состав приемной комиссии. Мы ждали новых людей, надеялись на приток свежих сил. Поэтому членами приемной комиссии были избраны наиболее авторитетные поэты: Блок, Гумилев, Лозинский и Кузмин»¹³. Петроградский Союз строго относился к отбору новичков: из более чем 80 заявлений, поданных за период 1920–1921 гг., было удовлетворено не более 10¹⁴.

Критерии оценки «настоящего» поэта перепоручают разработать и применить уже признанным в литературной среде поэтам (сам стиль и содержание рецензий Приемочной комиссии очевидно наследуют постсимволистской литературной критике), они наделяют определенным статусом нового писателя, однако символический характер такого статуса на деле несет более ощутимые экономические блага (паек). Можно также отметить, что в таких случаях происходит сочетание практик литературной группы и профессионального союза — поэт, как и любой другой рабочий, имеет свой профессиональный

¹² Союз поэтов // Дом искусств. 1920. № 1. С. 74.

¹³ Павлович Н. Воспоминания об Александре Блоке / публ. З. Г. Минц и И. А. Чернова // Блокковский сборник. Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А. А. Блока, май 1962 г. Тарту, 1964. С. 469.

¹⁴ Медведев П. Н. Неопубликованные рецензии // Памяти Блока: сб. материалов / под ред. П. Н. Медведева. Пг., 1923. С. 64.

союз, но вход в этот союз осуществляется не по факту обладания какой-то профессией, а по степени «таланта». Так происходит взаимовлияние различных литературных и общественных ситуаций — и такова первая итерация статуса «поэт» в молодой советской культуре.

На рубеже 1923–1924 гг. усиливается внимание партии к литературе и предпринимается несколько попыток форсировать создание советской литературы (с этого момента закрепляется само словосочетание «советская литература») ¹⁵. Образование второго Союза поэтов произошло именно в это время: в июле 1923 г. началось его оформление и было назначено оргбюро ¹⁶. Несмотря на то что первоначально место Председателя предназначалось одному из «признанных» поэтов — М. А. Кузмину, к моменту первого официального собрания 6 апреля 1924 г. в состав оргбюро вошли деятель Пролеткульта П. Арский и председатель секции печати Губернского отделения Всероссийского союза работников просвещения Н. Энгель. Новый Союз создает новое поколение: это организация с прописанным уставом и задачами, протоколированием собраний Правления, проходивших раз в неделю ¹⁷. Союз отныне сильнее контролируется «сверху», что сказывается и на механизмах вступления в него. Хотя внешне наделение благами происходит, в сущности, по тому же принципу, что и в первом Союзе — оцениванию произведений, — в действительности же это практика, инверсивная по отношению к практике первого Союза: оценка переходит непосредственно к Правлению, критериями оценки становятся не личные предпочтения оценивающих, а формальные (изданная книга стихов, подтверждающая принадлежность автора к «поэтам») или «живая связь автора с вопросами революционной современности» ¹⁸. Хотя в культуре уже формируется «советский поэт», анализ отзывов на поданные произведения показывает, что реальная практика еще долго оперирует понятиями «дарование», «чутье», «поэтический темперамент», ¹⁹ — статус «поэта» долго несет

¹⁵ *Аймермахер К.* Политика и культура при Ленине и Сталине. С. 62.

¹⁶ Протокол собрания группы петроградских поэтов об организации Петроградского отделения Всероссийского союза поэтов и выборах оргбюро // РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. № 2.

¹⁷ См. протоколы заседаний Правления: РО ИРЛИ. Ф. 291. Оп. 2. № 14–16.

¹⁸ *Лукницкая В.* Перед тобой земля. Л., 1988. С. 51.

¹⁹ Цит. по: *Кукушкина Т. А.* Всероссийский союз поэтов. Ленинградское отделение (1924–1929): очерк деятельности. С. 96–97.

на себе наследие предыдущей эпохи, сочетая его с формальными требованиями советских профсоюзных организаций.

Формирование статуса «поэта» в короткую эпоху отсутствия жесткого идеологического диктата происходило путем сочетания практик предшествующей литературной эпохи и раннесоветских реалий. Институционализация поэтического союза потребовала пересмотра сложившихся правил «отбора» поэтов из числа производителей литературной продукции и контаминации их с практиками вступления в профессиональный союз. Статус «поэта», символический нагруженный, сохраняет в ядре своем идею «таланта», которая в разные временные промежутки обставляется различными сопутствующими коннотациями, и в итоге приходит к следующему определению, озвученному на Первом съезде советских писателей: «Поэзия — есть определенный вид общественной жизнедеятельности и в своем развитии, несмотря на специфическую природу поэтического творчества, подчиняется закономерностям общественного развития»²⁰.

²⁰ Бухарин Н. И. Доклад о поэзии, поэтике и задачах поэтического творчества в СССР // Первый Всесоюзный съезд советских писателей. 1934: Стенографический отчет. М., 1934. С. 482.

Евгения Платонова

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург
департамент истории
магистрантка 2 курса
esarslonga@gmail.com

ГРАНИЦЫ МУЖСКОГО В МОДНОМ ДИСКУРСЕ ЛЕНИНГРАДА В ПЕРИОД ОТТЕПЕЛИ

Социальные и культурные процессы периода оттепели повлияли на трансформацию структур советской повседневности, что повлекло за собой частичную либерализацию гендерной политики, перестройку системы приватной сферы и формирование оппозиционного дискурса. Изменения гендерного фона хрущевских реформ отчетливо проявились в практиках, связанных как с взаимодействием мужчин и женщин в публичном пространстве, так и в близких отношениях¹. Советская мода, получившая новое начало после Великой Отечественной войны, предстает как часть публичной сферы, через которую возможно проанализировать трансформацию и конструирование гендерных отношений и идентичностей. Модная индустрия задает определенные представления об использовании одежды как маркера гендерной идентичности и способствует закреплению стандартов внешнего вида мужчин и женщин, что вписывается в модели маскулинности и феминности, которые основаны на наборе гендерных стереотипов².

Проблематизация советской маскулинности в позднесоветский период практически не рассматривалась в исторических исследованиях. Частично эти вопросы затронули российские социологи, такие как Е. Здравомыслова, А. Темкина³ и И. Кон⁴. Что касается изучения

¹ В настоящей работе под гендерным фоном подразумевается взаимоотношения мужчин и женщин и представления о мужском и женском в годы десталинизации. Взаимодействие этих представлений прослеживается в модном дискурсе Ленинграда в стенограммах Художественного совета Дома моделей и журнале мод. Подробнее см., напр.: *Лебина Н. Б.* Мужчина и женщина: тело, мода, культура. СССР—Оттепель. М., 2015. С. 4.

² *Ретина Л. П.* Женщины и мужчины в истории: новая картина европейского прошлого. М., 2002. С. 86.

³ *Zdravomyslova E., Temkina A.* The Crisis of Masculinity in Late Soviet Discourse // *Russian Studies in History*. 2012. Vol. 51, N. 2.

⁴ *Кон И. С.* Мужчина в меняющемся мире. М., 2009.

гендерного аспекта советской моды, то большая часть историографии посвящена конструированию нормативных представлений о феминности и женской красоте, а также интерпретации этой нормативности в практиках выбора одежды и домашнего пошива. Одной из первых, кто обратил внимание на вопросы мужского стиля, стала Наталия Лебина, которая частично описала повседневные каноны стильного мужчины, сделав акцент на вещах, которые считались обязательными для хорошо одетого советского человека. Однако автор не встраивает представления о мужском внешнем виде в модель маскулинности. Настоящее исследование посвящено конструированию советской маскулинности через анализ официального сценария мужского внешнего вида в период оттепели на примере Ленинградского дома моделей одежды (далее — ЛДМО). Этот сценарий определялся через категорию тела, цвета, формы и длины одежды. Аналогичная система применялась Художественным советом ЛДМО для создания женских норм, однако в этом случае добавлялась категория возраста. Для анализа мужской нормативности в модном дискурсе Ленинграда используются стенограммы заседаний Художественного совета ЛДМО из Центрального Государственного Архива Санкт-Петербурга, а также визуальные источники — выпуски журнала «Моды. Ленинград».

Художественный совет ЛДМО проводил заседания, посвященные обсуждению новых моделей одежды. Эти встречи проходили несколько раз в течение модного сезона (осень/зима и весна/лето). Каждое заседание начиналось со вступительной речи председателя заседания, которая включала в себя подробный рассказ о модных тенденциях на определенный сезон и количество моделей, выставленных на обсуждение. Модели были разделены на три категории: мужская, женская и детская⁵. ЛДМО выпускал одежду преимущественно для женщин, что выражалось в разнообразии ее видов и форм. Художественный совет обсуждал женские платья, блузки, юбки, пижамы, сорочки, домашнюю и верхнюю одежду, в то время как мужские модели были ограничены костюмами, рубашками, брюками и образцами верхней одежды.

⁵ Стенограмма совещания работников Дома моделей с работниками аппарата Горкома и Обкома КПСС о направлении моделирования на 1955 г. 14.01.1955 // Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее — ЦГА СПб). Ф. 9610. Оп. 1. Д. 204. Л. 2.

В начале оттепели вопросы мужского внешнего вида изредка поднимались на заседаниях⁶. Например, на собрании в 1953 г. коммерческий директор треста «Ленодежда» Н. Гладкова рассуждала, что фигура мужчины в одежде должна выглядеть статной⁷. Стагная мужская фигура подразумевала стройный силуэт с прямой спиной и отсутствием лишнего веса. Это являлось частью советского мужского телесного канона, в котором тело мужчины должно было выглядеть атлетическим⁸. Чтобы подчеркнуть силуэт, все модели мужской одежды должны были соответствовать понятию «строгого костюма» с объемными пиджаками, изредка приталенными, широкими брюками и классической рубашкой⁹. Художественный совет беспокоился об «уродовании мужской фигуры»¹⁰, поэтому строгий костюм в духе сталинского партийного аппарата был выбран в качестве идеального варианта повседневной одежды для советских мужчин. При всем этом из модного дискурса исключались слишком тощие или полные мужчины, и одежда для них совсем не обсуждалась на заседаниях ЛДМО.

К началу 1960-х гг. с развитием советской швейной промышленности и популярности западных тенденций в советском моделировании, мужская одежда стала более разнообразной и красочной: на страницах журнала начали появляться рубашки, свитера, футболки и пиджаки в клетку и полоску. Также было очевидно, что советские дизайнеры пытались экспериментировать с модельными вариантами, используя в мужской одежде, например, анималистичные принты¹¹. Однако использование принтов в мужских моделях строго контролировалось. Украшения в виде славянского орнамента встречались в одежде для мальчиков и подростков еще в конце 1940-х гг., но для взрослых моделей это было под строгим запретом. Более того, модели молодежных рубашек, напоминающие украинские вышиванки или русские рубахи, часто критиковались: «Разве 12-летний мальчик

⁶ Стенограмма заседания Большого Художественного совета Дома Моделей по просмотру моделей 08.01.1953 // ЦГА СПб. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 140. Л. 17.

⁷ Там же.

⁸ Кон И. С. Мужчина в меняющемся мире. С. 142.

⁹ Стенограмма заседания Большого Художественного совета Дома Моделей по просмотру моделей 08.01.1953. Л. 20.

¹⁰ Стенограмма совещания работников Дома моделей с работниками аппарата Горкома и Обкома КПСС о направлении моделирования на 1955 г. 14.01.1955. Л. 13.

¹¹ Одежда для дома и отдыха // Моды. Ленинград. Модели одежды для мужчин. 1963. № 9.

наденет костюм с такой вышивкой на воротнике? Это ниже его достоинства, ибо он считает, что такой воротник годится только для девочки»¹². Этот пример иллюстрирует, что использование «правильного» принта или украшения в мужской одежде становилось границей, отделяющей его от женщины. Феминизация советского мужчины находилась под строгим социальным запретом¹³. Также это вписывалось в идею о том, что одежда должна была подчеркивать гендерные различия не только через свою форму, но также через украшения, принты и даже цвета.

В первые годы хрущевского периода мужская одежда выполнялась в тусклых оттенках, преимущественно в черном, сером и коричневом цветах. Это было обусловлено медленным развитием советской модной индустрии. Вид одежды определял ее цвет: если рубашки или свитера могли быть выполнены в светлых тонах, то это правило не распространялось на пальто и плащи¹⁴. В середине 1950-х гг. цветовая палитра советской одежды расширилась, но в мужском дизайне продолжали преобладать темные оттенки. В 1958 г. яркие цвета наконец стали частью образа советского мужчины: дом моделей показал желтые, голубые и зеленые цвета¹⁵. Однако использование яркого цвета в создании моделей мужской одежды продолжало напрямую зависеть от ее вида и назначения. На заседании 1959 г. главный инженер швейной фабрики им. Володарского А. Синяков говорил: «Для обычной носки цветной жилет хорош, но это — вечерний костюм. Нужно сделать белый жилет»¹⁶. Черные, белые и серые цвета стали прочно ассоциироваться с деловой и рабочей одеждой, в то время как яркие оттенки использовались для дизайна повседневных моделей.

Несмотря на то что мужская одежда стала ярче и контрастнее в начале 1960-х гг., она продолжала вписываться в определенные рамки. В специальном выпуске для мужчин за 1963 г. было опубликовано письмо главного художественного руководителя мужской группы ЛДМО К. Кудряшова, в котором говорилось: «Цвет в современной одежде играет большую роль. Гамма модных цветов стала разнообразнее и сложнее. Она полна красок осеннего леса. В муж-

¹² Стенограмма заседания Большого Художественного совета Дома Моделей по просмотру моделей 05.03.1953. Д. 142. Л. 21.

¹³ *Барт Р.* Система моды. М., 2004. С. 292.

¹⁴ Стенограмма заседания Большого Художественного совета Дома Моделей по просмотру моделей 11.04.1953. Д. 143. Л. 25.

¹⁵ Верхняя одежда для мужчин // Моды. Ленинград. 1958. Зима.

¹⁶ Стенографические отчеты заседаний Большого Художественного совета, 1959 г. // ЦГА СПб. Ф. 9610. Оп. 1. Д. 67. Л. 160.

ской одежде Вы встретите все оттенки бронзы от коричневого до бронзово-черных, сливовые, синие, оливковые, серые тона. Для торжественных случаев наряду с черными и белыми — темные цветные»¹⁷. Красочные цвета в мужской одежде должны были выполняться в темных тонах. Таким образом, мужчинам не допускалось выбирать слишком яркую одежду. Несмотря на то, что новые направления в моде могли освободить советских мужчин от строгих правил в плане выбора оттенка одежды, модный дискурс поддерживал идею разделения на мужские и женские цвета, что повлияло на оформление стереотипов относительного мужского внешнего вида.

Тем не менее четкие границы мужской нормативности были связаны не только с необходимостью провести разницу между мужчинами и женщинами. Художественный совет обращал особое внимание на мужской внешний вид из-за субкультуры стиляг, получившей развитие в 1950-е гг. Алексей Юрчак определяет стильг как одну из первых советских субкультур, которая состояла преимущественно из прослойки городской молодежи, проявляющей интерес к различным формам западной культуры¹⁸. По мнению комсомольских работников, эта субкультура имела мужскую природу¹⁹. Стиляги придумывали свой собственный стиль в одежде, используя советские элементы. В начале оттепели они носили длинные пиджаки, чрезвычайно широкие брюки с манжетами и яркие галстуки²⁰. При этом молодые девушки либо не описывались как стильги, либо не были интегрированы в эту группу.

Популярность стильг в городской среде объясняет строгое отношение Художественного совета к длине и цвету мужской одежды в 1950-е гг. Особенное внимание уделялось ширине мужских брюк, которые должны были соответствовать стандартам советских моделей мужской одежды и быть ни «слишком узковатыми», ни «слишком широковатыми»²¹. Цвет являлся главным маркером отличия стильг от остальных советских граждан. Стиляги использовали целую

¹⁷ Вступительное письмо К. Кудряшова // Моды. Ленинград. Модели одежды для мужчин. 1963. № 9.

¹⁸ Юрчак А. В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014. С. 335.

¹⁹ Там же. С. 43.

²⁰ Edele M. Strange Young Men in Stalin's Moscow: The Birth and Life of the Stiliagi, 1945–1953 // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 2002. Vol. 50, N 1. P. 41.

²¹ Стенограмма совещания работников Дома моделей с работниками аппарата Горкома и Обкома КПСС о направлении моделирования на 1955 г. 14.01.1955. Л. 21.

гамму ярких цветов в своих нарядах: желтый, красный, оранжевый, зеленый, голубой и т. д. Вследствие этой тенденции некоторые яркие цвета заработали «негативную» репутацию в официальной моде²² и были исключены из дискурса как недопустимый для мужчин цвет. ЛДМО закреплял представления о нормативной модели советской маскулинности, противопоставляя ей женщин и «несоответствующих» мужчин. Стиляги, которые не придерживались советских стандартов, воспринимались как «несоответствующие» мужчины, так как они носили «неподобающие» модели одежды, использовали «женские» цвета и реинтерпретировали идею о мужском внешнем виде в целом, создавая альтернативную форму маскулинности.

Таким образом, в 1950-е гг. советским мужчинам предлагалось носить формальную одежду, преимущественно классические строгие костюмы или брюки в сочетании с рубашками темных или холодных оттенков с минимумом принтов или орнаментов. Одежда должна была подчеркивать стройность и пропорциональность мужского силуэта. В 1960-х гг. с развитием советской текстильной промышленности и реакции советского моделирования на западные тенденции образ советского мужчины немного изменился. Советская маскулинность приобрела более изящную и привлекательную форму, когда в мужской одежде начали допускаться яркие цвета, принты и вышивки. Однако их использование было строго ограничено, так как подобные украшения считались элементом женской одежды. Модель маскулинности в ленинградской моде создавалась за счет противопоставления феминности, поэтому мужской внешний вид был заключен в строгие рамки, не допускающие ничего женского. Эти же рамки отделяли данную модель маскулинности от ее альтернативных вариантов, которые создавали, например, стиляги, что способствовало закреплению представлений о «правильном» и «неправильном» мужском образе. В контексте советской нормативности мужского внешнего вида, вариант маскулинности Ленинградского дома моделей одежды стал формой гегемонной маскулинности²³, которой большинство советских мужчин соответствовать не могло.

²² *Gurova O.* The Art of Dressing. Body, Gender and Discourse on Fashion in Soviet Russia in the 1950 and 1960s // *The Fabric of Cultures. Fashion, Identity and Globalization* / ed. E. Paulicelli and H. Clark. London, 2009. P. 7.

²³ Гегемонная маскулинность — нормативный образец маскулинности, преобладающий в культуре того или иного общества. Гегемонная маскулинность конструируется относительно женщин и относительно подчиненных моделей маскулинности. Подробнее см., напр.: *Connell R.* Gender and Power. Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge, 1987. P. 186.

Тамара Полякова / Tamara Polyakova

University of Wisconsin-Madison, USA

Department of History

PhD Candidate

tpolyakova@wisc.edu

«МЫ ДЛЯ НИХ КАК ЧАРОДЕИ». МИКРОИСТОРИЯ БРИТАНСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ НА СЕВЕРЕ РОССИИ

В последние десятилетия исследователи Гражданской войны в России стали обращаться не только к политическим и военным аспектам, но и к повседневным сторонам этого конфликта¹. Моя работа продолжает эту тенденцию, анализируя взаимодействие британских войск, высадившихся в Мурманске в июне 1918 г. якобы для предотвращения немецко-финского вторжения на территорию России и к сентябрю 1919 г. продвинувшихся почти до Петрозаводска, и карел, населяющих этот регион. Эти две группы оказались в состоянии взаимозависимости — из-за сурового климата и малопродуктивной почвы карелы вынуждены были полагаться на британское продовольственное снабжение, а относительно небольшой британский контингент в свою очередь был поставлен перед необходимостью рекрутирования местного населения для проведения военных операций и содержания железной дороги. Используя мемуары, дневники и письма карел и британцев, базировавшихся на северо-западе России, в этой статье я анализирую повседневные отношения между этими двумя группами. Такой подход дополнит существующие исследования Гражданской войны на севере России², позволяя воссоздать более многогранное изображение этого конфликта.

¹ См., напр.: *Нарский И.* Жизнь в катастрофе. Будни населения Урала в 1917–1922 гг. М., 2001.

² *Baron N.* The King of Karelia: Colonel P. J. Woods and the British Intervention in North Russia 1918-1919: A Brief History and Memoir. London, 2007; *Дубровская Е. Ю.* Российская революция 1917 года и Гражданская война в памяти населения Карелии. Петрозаводск, 2016; *Kinvig C.* Churchill's Crusade: The British Invasion of Russia, 1918–1920. London, 2007; *Осинов А. Ю.* Финляндия и гражданская война в Карелии. Петрозаводск, 2006; *Шумилов М. И.* Революция и гражданская война в Карелии: 1917–1920 // История

Многие британские солдаты и офицеры вели дневники, большинство писали письма своим родным, а некоторые вскоре после возвращения на родину даже засели за мемуары³. К сожалению, в случае с карелами источники такого рода гораздо более редки — в силу культурных особенностей они изначально не часто прибегали к письменной фиксации своих впечатлений, а после прочного установления в крае советской власти и вовсе старались не афишировать свои связи с интервентами. Мое исследование опирается на воспоминания карел, зафиксированные историками Карельского филиала Академии наук СССР через 40 лет после окончания Гражданской войны⁴.

* * *

Высадившись в Мурманске в 1918 г., британские войска увидели перед собой небольшую, но крайне перенаселенную деревню, состоявшую в основном из расположенных безо всякого порядка деревянных домов и не имевшую ни дорог, ни канализации или водопровода. Движение войск по Мурманской железной дороге на юг только укрепило их изначальные впечатления о заторможенном развитии России и хаосе, царствующем в ней. «Россия на две или три сотни лет отстала от остальных стран современной Европы», — отметил сержант Лесли Кларк в дневнике⁵. «Эта страна совершенно неразвита,

Карелии с древнейших времен до наших дней. Петрозаводск, 2001. С. 342–440; *Витухновская-Каутала М. А.* «Карелия для карел!» Гражданская война как катализатор национального самосознания // *Ab Imperio*. 2010. № 4. С. 245–282.

³ О литературной составляющей мемуаров британских военнослужащих на севере России, см.: *Голубев А. В.* «Карельский дневник» Филиппа Вудса: исторический источник или приключенческий роман? // Профили. Зарубежная филология в гуманитарном дискурсе. Петрозаводск, 2009. С. 15–31.

⁴ Существенно отредактированные воспоминания были опубликованы в сборнике: *Машезерский В. И.* За советскую Карелию, 1918–1920. Воспоминания о гражданской войне. Петрозаводск, 1963.

⁵ With the British Army in Russian Lapland. Experiences, Observations, and Impressions of a Member of the Pioneer Party of the North Russian Expeditionary Force 1918–1919 by Leslie O. Clarke (late M. G. Sergeant of the Infantry Company, 29th Battalion), 1923 // Imperial War Museum Archive, London (далее — IWM). Private Papers of L. O. Clarke (далее — Clarke Papers). Box N 67/306/1.

и, я думаю, развита быть не может», — вынес свое заключение майор Дезмонд Аллхузен в письме отцу⁶.

Какова же была британская оценка местного населения? Не всегда удается установить наверняка, относятся ли также и к карелам те строки британских мемуаров, в которых описаны местные «русские». И тем не менее очевидно, что в большинстве своем британцы различали карел и русских по языку и образу жизни, а также по напряжению, существовавшему в русско-карельских отношениях, очевидно даже для стороннего наблюдателя⁷. Общение между британцами и карелами обычно происходило через переводчика, хотя отдельные британские солдаты знали основы русского языка, а некоторые карелы смогли выучить азы английского.

Большинство британских солдат и офицеров были гораздо более заинтересованы во внутренних делах Союзного контингента на севере России, чем в местном населении региона, и только мимоходом упоминали карел в письмах и воспоминаниях. В своих письмах на родину Аллхузен ограничился следующим описанием местного населения: «много бородатых мужиков в шубах», «все они невероятно глупы»⁸. В то же время другие британцы изображали карел подробно и всесторонне, фиксируя их физические характеристики, обычаи и национальный характер. В своих мемуарах сержант Кларк описывал голубые глаза карел, их жидкие светлые волосы и землистый цвет лица, и отмечал, что мужчины, как правило, среднего роста с хорошо развитыми плечами, а женщины «короткие, невзрачные, и больших размеров». Британцы упоминали, что карелы в основном питались ржаным хлебом, рыбой и олениной, отлично бегали на лыжах, а в свободное время играли в карты, слушали аккордеон и мастерски исполняли песнопения⁹.

Общее впечатление, произведенное карелами на британцев, было скорее положительным, особенно по сравнению с критическими

⁶ My dear Dad... April 23, 1919 // IWM. Private papers of Major D. Allhusen (далее — Allhusen Papers). Box N 09/74/1.

⁷ Clarke Papers. Box N 67/306/1.

⁸ My dear Dad... April 23, 1919; My Dear Mother... April 18, 1919 // IWM. Allhusen Papers. Box N 09/74/1.

⁹ Clarke Papers. Box N 67/306/1; A Diary of Events Which Happened Between the Months of June 1918 and October 1919 During My Visit to Arctic Russia // IWM. Private papers of 2nd Lieutenant J Scott (далее — Scott Papers). Box N 08/147/1.

отзывами, оставленными ими о местном русском населении. Но даже самые благожелательные наблюдатели рисовали картину большой отсталости. «Их образ мыслей примитивен и незрел», — писал Кларк¹⁰. Младший лейтенант Джон Скотт более детально изобразил карельскую отсталость, отмечая, что карелы «достигли только очень низкого уровня развития», сравнимого с Англией в XI в., и «считают нас чародеями, видя, как мы используем такие предметы, как авторучки и граммофоны»¹¹. Тем не менее эта отсталость не представлялась британцам непреодолимой, и тот же Скотт одобрительно отметил, что «карельский мальчик, в случае если он хорошо обучен, может быть достаточно чистоплотен и сообразителен, он быстро учится английскому языку, и из него может получиться первоклассный слуга и ямщик, который в обмен на жилье и питание будет полностью предан своему хозяину»¹².

* * *

Сравнение карельских и британских воспоминаний о Гражданской войне на севере России позволяет выявить сюжеты, занимавшие важное место в одних описаниях и полностью отсутствующие в других. Таков нарратив карельской отсталости — британцы писали о ней часто и подробно, в то время как сами карелы никогда не упоминали о каком-либо ощущении неполноценности в сравнении с британскими солдатами. Напротив, их воспоминания, большей частью достаточно лаконичные, часто и подробно описывали самые различные хитрости и уловки, к которым карелы прибегали, чтобы улучшить свое благосостояние за счет британского контингента.

Уроженец деревни Кестеньга Прокопий Никифорович Кемов служил у британского командования и отвечал за распределение продовольственных норм среди завербованных карел и их семей. Когда карел мобилизовывали, Кемов, который до начала интервенции был членом местного совета и продолжал втайне от британцев поддерживать советскую власть, подталкивал новобранцев к дезертирству, обещая распределять нормы так же, как и раньше. Кемов после вспоминал, что, хотя инспекции проводились ежедневно, «подмазанный табачком» ревизор никогда не заходил внутрь скла-

¹⁰ Clarke Papers. Box N 67/306/1.

¹¹ Scott Papers. Box N 08/147/1.

¹² Ibid.

да, в котором хранилось продовольствие. Когда, наконец, пропажа почти всех запасов была обнаружена, и полуживой от страха ревизор приказал Кемову предстать перед британским командованием в Кеми, последний легко смог скрыться от ответственности, вернувшись в свою деревню¹³.

Большая часть карельского населения жила к западу от Мурманской железной дороги, вдоль которой были размещены британские войска, поэтому общение между двумя группами в основном осуществлялось в рамках Карельского отряда. Это было военное формирование, организованное карелами для противодействия финскому вторжению 1918 г. Для поддержки этого предприятия британское командование предоставляло продовольствие, обмундирование, оружие и амуницию. Непосредственное командование осуществляли сами карелы, но во главе отряда стоял британский офицер, и солдаты и командиры подвергались регулярным инспекциям¹⁴.

Иван Федорович Лежоев, солдат Карельского отряда, в своих воспоминаниях рассказал, как офицерам отряда удалось обвести вокруг пальца британское командование. После того как отряд успешно изгнал финские войска с территории России зимой 1918–1919 гг., карельские солдаты были размещены на финско-русской границе для ее охраны. Офицеры отряда смогли договориться о продолжении поставок продовольствия из британского штаба, но британское командование отказало карельским офицерам в просьбе снабжать карел, не состоящих на военной службе, рекомендуя им «не заниматься пустяками». Карелы тогда решили на бумаге увеличить численность отряда до нескольких тысяч человек, хотя, согласно Лежоеву, на самом деле их было около шестисот. Узнав заранее о надвигающейся проверке, офицеры отряда мобилизовали и обучили в том числе негодных для службы пожилых крестьян, надеясь таким образом создать впечатление большой численности отряда. Они даже организовали «вечер художественной самодеятельности» и, по словам Лежоева, блестяще

¹³ Кемов Прокопий Никифорович. Образование поморской Карпо-требкооперации в с. Кереть. 1958 // Архив Карельского научного центра Российской академии наук (далее — КарНЦ РАН). Ф. 1. Оп. 20. Д. 36. Л. 16–17.

¹⁴ *Varon N. The King of Karelia*, P. 63–64. *Лежоев И. Ф., Лесонен В. И. Борьба партизан против белофиннов в Кемском уезде в 1918–1920 гг.* 1957–1959 // КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 139. Л. 3.

выдержали инспекцию и продолжали получать нормы на раздутое число мобилизованных¹⁵.

Карельские стратегии обмана, мелкого воровства и напускного невежества не остались незамеченными британцами. Полковник Филип Вудс, британский командующий Карельского отряда, писал, что, осуществив инспекцию Карельского отряда, описанную выше, посланец британского генерального штаба майор Пирс Макези сообщил Вудсу, что, посещая различные посты, всегда встречал одних и тех же солдат. Более того, Вудс упомянул, что Макези не удалось узнать ничего про политические настроения крестьян в инспектируемом им регионе, так как карелы, которые к весне 1919 г. окончательно перестали доверять своим бывшим союзникам, отлично умели притворяться круглыми дураками, когда не хотели отвечать на вопросы вышестоящего начальства¹⁶.

Один из наиболее часто встречающихся лейтмотивов воспоминаний карел — это постоянная нехватка продовольствия. Война разрушила существующую систему снабжения этого региона, и карелы были часто вынуждены добавлять в пищу перемолотое сено, березовые опилки и кору деревьев. Британцы отлично понимали, как сильно карелы зависели от их провианта и пользовались этим. Эту продовольственную политику карелы упоминали в своих воспоминаниях с презрением. Летом 1919 г. британское командование отдало Карельскому отряду приказ выступить против войск Красной армии. Федор Лесонен, солдат отряда, позже писал, что во время общего сбора британский офицер пытался предотвратить переход карельских солдат к красным, демонстрируя ломоть хлеба, выпеченный для лошадей, и крича, что именно такой пищей питаются красноармейцы¹⁷. Лесонен отметил, что «хлеб из суррагат [sic!]», испеченный из муки, смешанной с молотой березовой корой, был вкуснее, чем британский

¹⁵ Материалы, собранные Я. В. Ругоевым по истории Гражданской войны. 1957–1960 // Национальный Архив Республики Карелия (далее — НА РК). Ф. Р-3716. Оп. 1. Д. 853. Л. 72.

¹⁶ “...no people could be more densely stupid than these northerners when put upon their guard” (*Baron N. The King of Karelia*. P. 257). Об эффективности мелкого воровства, напускного незнания и притворства как способов сопротивления, см.: *Scott J. Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven, 1985.

¹⁷ Материалы, собранные Я. В. Ругоевым // НА РК. Ф. Р-3716. Оп. 1. Д. 853. Л. 8.

продовольственный паек, так как не подразумевал необходимости воевать против Красной армии¹⁸. В свою очередь, Василий Дегтярев, работник красноармейского призывного пункта своей родной деревни Кургеницы, критиковал земляков, которые «продались за ром и галеты»¹⁹. Массовое дезертирство солдат Карельского отряда летом 1919 г. показало, что карелы не согласны были следовать приказам британского командования даже под угрозой лишения британского пайка, если эти приказы не отвечали их собственным интересам²⁰.

Детали повседневного взаимодействия карел и британцев, поступающие при параллельном прочтении военных мемуаров этих двух групп, позволяют воссоздать картину взаимного недоверия и неуважения. Документы личного происхождения показывают, что какие-либо общие идеологические и военные цели британского командования и карельского населения меркли перед непоправимыми разногласиями, проявлявшими себя во время повседневного взаимодействия. Британцы считали карел безнадежно отсталыми, а карелы, в свою очередь, активно эксплуатировали кажущуюся легковёрность британцев и, как только цена участия в их военных кампаниях стала слишком высокой, воспользовались первой же представившейся возможностью, чтобы покинуть бывших союзников. Микроуровневый анализ британской интервенции на севере России позволяет создать новый нарратив Гражданской войны, дополняющий существующие исследования военных операций, дипломатических переговоров и идеологических коллизий, которые редко принимают во внимание более прозаичные стороны этого конфликта.

¹⁸ Там же. Л. 10.

¹⁹ Дегтярев Василий Федорович. Восстание в Шуньге. 1959 // КарНЦ РАН. Ф. 1. Оп. 20. Д. 23. Л. 30.

²⁰ *Baron N. The King of Karelia. P. 91.*

Степан Попов

Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург
кафедра сравнительного литературоведения и лингвистики
студент 3 курса
sdpopov@edu.hse.ru

ПОЛИТИКА ДЕЙКСИСА: К ОПИСАНИЮ ПРАГМАТИКИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА

Бенедикт Андерсон, определяя социальную и политическую функцию художественного текста, описывает последний как особую медиальную форму, позволяющую субъектам через акт коллективного знакомства с собой ощущать некое внутреннее единство¹. Узнавая себя, известный бытовой и социальный контекст, других читателей в образах, продуцируемых художественным текстом, субъект идентифицирует себя как часть воображаемого сообщества, т. е. некоторого неформального социально-политического объединения. Практика чтения в такой перспективе формирует между членами указанного сообщества связи горизонтального типа; где акт чтения является самоценным, а текст и его автор выступают лишь как функциональные единицы, опосредующие этот сложный дискурсивный процесс.

Однако указанные принципы оказываются нерелевантными при анализе произведений социалистического реализма. Так, например, Борис Гаспаров характеризует отношения между автором и читателем в мире соцреализма не как равные, а как иерархические, в которых читатель репрессируется автором, ограничивается им в праве на свободную интерпретацию². Евгений Добренко интерпретирует авторитарный характер соцреалистического текста, остроумно сравнивая его с «машиной по производству социализма»³; фактически признает единообразными и историческую логику возникновения,

¹ Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001.

² Гаспаров Б. Социалистический реализм в метафизическом измерении (возможна ли ложь художественного вымысла?) // Новое литературное обозрение. 2017. № 143.

³ Добренко Е. Политэкономика соцреализма. М., 2007.

и общую прагматическую задачу соцреализма и советского политического проекта 1930-х гг. Перечисленные выше особенности позволяют прочесть соцреалистический художественный текст не столько по модели Андерсона, сколько по модели Эдварда Саида, где повествование есть фигура символического контроля Другого, способ стигматизации субъекта-читателя и отъема у него идентичности (или способ ее травматической «перековки»)⁴. Тем не менее ценность этого сопоставления соцреализма с различными «социальными» прочтениями художественного текста состоит в том, что оно акцентирует исследовательское внимание на анализе коммуникации литературного текста со своим читателем, на особенностях ее этики⁵. В своем докладе я, основываясь на соцреалистической повести Петра Павленко «Степное солнце» (1949), с одной стороны, выделяю характерный для нее тип коммуникации, а с другой — попытаюсь определить степень «успешности» или «неуспешности» последнего в контексте общих метапрагматических качеств соцреалистического нарратива и связанных с ними особенностей фикционального письма, соцреалистического художественного вымысла как такового.

«Степное солнце» Петра Павленко: детское-взрослое в социалистическом реализме

Виктор Шкловский определял «Степное солнце» как одно из главных творческих достижений писателя: «Петр Андреевич, который как будто бы прожил счастливую жизнь, не успел выразить себя целиком. “Степное солнце” — хорошая книга, умная книга...»⁶

Учитывая то положение, которое занимал Павленко в советском поле литературы⁷, можно предположить, что высокая оценка его повести Шкловским — знак признания за «Степным солнцем» статуса

⁴ *Said E.* Orientalism. New York, 1979.

⁵ Подробнее о термине «этика литературной коммуникации» и его эвристических основах см.: *Венедиктова Т.* Литературная прагматика: конструкция одного проекта (обзор исследований литературы как коммуникации) // Новое литературное обозрение. 2015. № 135.

⁶ *Шкловский В.* Петр Андреевич Павленко // Жили-были. М., 1966. С. 516.

⁷ Так, например, К. Кларк определяет Павленко как образцового соцреалистического писателя 1930–50-х гг., наряду, например, с такой значительной и авторитетной фигурой, как Шолохов. См.: *Clark K.* The Soviet Novel: History as Ritual. 3^d ed. Indiana, 2000.

достойного образца следования соцреалистическому шаблону. Тем любопытнее и парадоксальное в свете известного представления о маскулинности, «серьезности» и «взрослости» соцреализма оказывается это высказывание Шкловского, если учесть, что определяемое в данном случае как соцреалистическое произведение «Степное солнце» — это детская повесть.

Добренко оценивает соцреализм как культуру принципиально инфантильную, «детскую»: и в первую очередь по той причине, что образы этой культуры были одинаково любимы и детьми, и взрослыми читателями⁸. Это обстоятельство, по мнению Добренко, позволяет рассматривать и «взрослую», и детскую соцреалистическую литературу как нечто единое и внутренне непротиворечивое. Последний тезис исследователя, с одной стороны, дает повод переосмыслить релевантность категорий «детское» и «взрослое» относительно соцреализма и, соответственно, переопределить последние как исключительно операциональные термины, т. е. без набора устоявшихся категориальных значений; а с другой — позволяет рассматривать все поле соцреалистической литературы как цельное явление, где разделение на «детское» и «взрослое» суть не эссенциальное, а качественное, лишь иллюстрирующее степень того, насколько сильно автор в том или ином тексте вторгается в сферу читательской рецепции, интерпретации.

В этой перспективе определение «Степного солнца» как детской повести означает лишь то, что коммуникативная установка выражена в этом произведении с большей интенсивностью, чем в более «взрослых» текстах соцреализма: автор обращается к читателю более эксплицитно, формулирует свое сообщение к нему в более ясных и дидактичных формах; иных же концептуальных отличий на уровне жанровой структуры не существует.

Модель производства аффекта: к описанию коммуникации в «Степном солнце»

Степень выраженности коммуникативной установки текста всегда связана с тем, какая прагматическая задача перед ним стоит. И соответственно, то, насколько коммуникативно успешным или неуспешным является текст, зависит от того, насколько эффективную модель

⁸ Добренко Е. Соцреализм и мир детства // Соцреалистический канон: сб. ст. СПб., 2000. С. 31–41.

коммуникации выстроил его автор. То, какая прагматическая задача является актуальной для автора соцреалистического произведения, помимо уже описанного выше (травматическая «перековка» идентичности своего читателя), дает понять следующий эпизод из «Степного солнца»: «Замечательная какая книжка! — повторил он, прищелкивая языком. — <...> У нас есть один дядька, Мищенко по фамилии, без ног с фронта вернулся. Хоть в гроб его клади да на кладбище. “Не хочу, говорит, жить — и все”. Ну, мы ему и давай ту книжку о Мересьеве вбивать в голову. И что ж ты думаешь — вбили! Гончарук, комбайнер, и Семенов из райкома — знаешь его? — где-то заказали ему протезы, а мы давай его тренировать на ходьбу. Сейчас сторожем на пасеке. Такой агитатор — куда нам до него!»⁹

Чтение художественного текста оказывает на читателя перформативный эффект, т. е. заставляет выполнять некоторые действия, необходимые его автору, а значит, и для дискурсивной системы соцреализма в целом. Это образцовая рецептивная стратегия, которую сознательно задает канонический соцреалистический текст Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (1946). Тот факт, что эпизод с описанием примера «правильного» чтения появляется в произведении, дает возможность предположить, что того же самого перформативного эффекта стремится достичь и автор «Степного солнца». Для этого он предпринимает ряд действий.

Павленко смыкает субъектную сферу повествователя со сферой субъективности главного героя, десятилетнего мальчика Сережи, и тем самым изначально создает свой текст, с одной стороны, как личное, интимное повествование, а с другой — как имеющее воспитательный потенциал: актуальные для героя значения вмещаются читателю как актуальные и важные именно для его культурного и чувственного опыта¹⁰. Увиденный глазами ребенка мир послевоенного колхоза представляется читателю как пространство харизматических героев; фактически примеров «правильных» поведенческих моделей, которым необходимо подражать. Вокруг носителей этих поведенческих моделей Павленко выстраивает ряд иллюкутивных актов, т. е. ряд эмфатизирующих элементов, маркирующих для читателя сказанное или написанное как имеющее особое,

⁹ Павленко П. Степное солнце. М., 1949. С. 51.

¹⁰ Садриева А. Социализирующее воздействие произведений о становлении личности на читателя-подростка (на примере романа воспитания) // Детские чтения. 2012. Т. 1, № 1. С. 117–130.

дополнительное, помимо своего сугубо повествовательного, значение¹¹. Например: «Отец, Петя Вольгановский и даже дядя Жора разглядывали Мусю без всякого стеснения. А она, ни на кого не глядя, ела дыню. Но Сергей чувствовал, что у нее сейчас тысячи глаз и что она все замечает...»¹²

Придание одному из героев, «передовичке» Мусе, черт сверхчеловека («у нее сейчас тысячи глаз и... она все замечает...») указывает здесь на фигуру последней как на возможный образец для подражания. Следуя за Мусей, главный герой распознает сигнал, оставленный Павленко, и двигается дальше по проложенной им траектории: от регистрации иллокутивного акта до перформативного действия, т. е. до исполнения вмененной автором команды: «А ты пойдешь с нашими мне помогать? — спросила она [Муся. — С. П.] Сережу, и тот от счастья, что будет необходим ей, почти Героине, совершенно необдуманно согласился. <...> и тут же раскаялся: ехать с хлебом на ссыпной было бы, наверное, куда интересней...»¹³

Важно то, что, делая выбор, герой даже отчетливо не понимает, необходимо это ему или нет: согласие происходит на аффективном уровне, без каких-либо дополнительных интеллектуальных усилий. За выражением этого согласия следует участие десятилетнего Сережи в тяжелой работе на поле, голодный обморок и как следствие — ощущения стыда за невозможность выполнить поставленную харизматическим героем задачу: получение нового опыта, необходимого для процесса взросления, оборачивается травмой; более того, переживание травматического опыта не конвертируется в акт апроприации ожидаемых высоких статусных и символических значений. Фигуры травмы и насилия конституируют, определяют границы той символической системы, в рамках которой находится как главный герой, так и читатель. В конечном итоге эта символическая система в силу вынужденного отъезда мальчика из колхоза, распада его коммуникативной связи с «передовичкой» Мусей обрывается. Перенесенное во время колхозной работы насилие никак не переводится в некий полезный опыт или какое-либо концептуальное знание, а остается, с одной стороны, фактом личной биографии героя,

¹¹ Подробнее о термине «иллокутивный акт» см.: *Стросон П.* Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. М., 1986. С. 131–151.

¹² *Павленко П.* Степное солнце. С. 20.

¹³ Там же. С. 21.

а с другой — фактом культурной биографии читателей «Степного солнца».

Это качество текста Павленко следует признать его коммуникативной неудачей: если в других канонических текстах социалистического реализма насилие, производимое над героем (а значит, и над читателями), имеет под собой радикально жестокую, но тем не менее осмысленную логику, то в «Степном солнце» насилие остается лишь насилием; «перековки» идентичности или перформативного действия в области читательской рецепции в случае с Павленко не происходит, ввиду того что модель его текста не располагает к тому, чтобы за его образами можно было следовать: за отсутствием опыта у Сережи следует отсутствие опыта у следившего за его историей читателя. Это означает, что коммуникативно повесть «Степное солнце» следует признать неуспешной.

Дейксис в соцреализме: постановка проблемы и заключение

Коммуникативная неуспешность «Степного солнца» определила выпадение этого текста из официального соцреалистического канона после десталинизации¹⁴: следовательно, нахождение этой повести и других текстов Павленко в каноне ранее — результат институциональной поддержки, а не специфики самих текстов¹⁵. В свою очередь, это дает повод — при опоре на произведение Павленко как на антипример — описать те метапрагматические качества соцреалистического письма, которые в случае с Павленко оказываются нерелевантными категориями, а в случае с тем же Борисом Полевым или Николаем Островским, наоборот, релевантными; и потому, добавим, относительно Павленко — являющимися образцами для стилистического и содержательного подражания.

Если переходить к терминам аналитической философии языка и прагматической лингвистики, «правильный», канонический соцреалистический текст представляет собой некоторое нарративное пространство, состоящее из героев и тех поведенческих моделей, вокруг которых автор выстраивает ряд иллокутивных актов с той целью, чтобы и герой, и читатель произведения, последовав за ними,

¹⁴ См.: Гребенищikov А. Забвению не подлежит! // Октябрь. 1968. № 6. С. 212.

¹⁵ Clark K. The Soviet Novel.

совершили некоторое перформативное действие (чаще всего — подвергли трансформации свою идентичность, субъектность). В дальнейшем, преобразовав читателя, авторский текст и те прагматические значения, что он производит, должен обрести форму дейксиса, т. е. некоторой виртуальной семантической конструкции¹⁶, способной существовать и формировать читательское сообщество в отрыве от своего текстуального первоисточника.

В своих поздних работах Витгенштейн утверждал, что смысл и содержание текста складываются не из соотношения имен-объектов и осмысленных предложений, а в рамках реализации разноmodalных высказываний в различных прагматических контекстах¹⁷. В случае с социалистическим реализмом подобным высказыванием становится некоторая формула, возникающая как результат чтения художественного произведения, а прагматическим контекстом — советская повседневность. Таким образом, знакомые формулы «Будь как Маресьев!» или «Будь как Павка Корчагин!» переводят «смысл» соцреализма с уровня языка (отдельное произведение) на уровень речи (повседневность) и тем самым структурируют советскую повседневность.

«Степное солнце» Павленко, будучи дериватом последней прагматической установки, не доводит «смысл» своей повести до уровня читателя, не исполняет основную задачу соцреалистического художественного текста, и потому метапрагматические установки соцреалистического письма оказываются в нем нереализованными.

¹⁶ Бенвенист Э. Глава XXII. Природа местоимений // *Общая лингвистика*. М., 1974. С. 285–292

¹⁷ *Витгенштейн Л.* Философские исследования // *Новое в зарубежной лингвистике*. Вып. XVI. М., 1985. С. 79–129.

Наталья Пученкина / Nataliya Puchenkina

Université de Caen-Normandie, France
History, Memory, Heritage, Language Doctoral School—
Laboratoire LASLAR
PhD Candidate
natpoutchenkina@gmail.com

**«НЕ ЖЕЛЯЯ РАЗБАЗАРИВАТЬ НАШИ ШЕДЕВРЫ»:
К ВОПРОСУ О СОВЕТСКОЙ ПОЛИТИКЕ
КИНОЭКСПОРТА В 1920–30-Е ГГ.
НА ПРИМЕРЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОКС,
СОВКИНО И ИНТОРГКИНО**

На первую половину XX в. приходится период восстановления и развития международных связей Советского Союза во всех областях, начиная с торговых операций и заканчивая расширением своего культурного присутствия за рубежом. Постепенно выходя из длительной дипломатической изоляции, советское государство нуждается в налаживании не только экономических, но и культурных связей с внешним миром. В этой связи развитие экспорта культурных ценностей и произведений искусства — не только литературы, кино и живописи, но также икон и предметов антиквариата — становится неотъемлемой частью внешней политики СССР¹.

В современной историографии советская культурная дипломатия рассматривается как важнейший способ воздействия на зарубежную интеллектуальную элиту и формирования положительного образа государства². В этом отношении кино, один из магистральных элементов в системе советской идеологии, конвенционально представляется

¹ О политике экспорта икон и антиквариата см.: *Осокина Е. А.* Небесная голубизна ангельских одежд. Судьба произведений древнерусской живописи. 1920–1930-е годы. М., 2018. Об организации экспансии советского искусства за рубеж см.: *Podzorova M.* L'art et l'engagement politique dans la construction de la diplomatie entre Moscou et Berlin // *Matériaux pour l'histoire de notre temps*. 2016. № 119/120. P. 4–10.

² См.: *Fayet J-F.* VOKS: le laboratoire helvétique. Histoire de la diplomatie culturelle soviétique durant l'entre-deux-guerres. Genève, 2014; а также: *Голубев А. В.* «...Взгляд на землю обетованную»: из истории советской культурной дипломатии 1920–1930 годов. М., 2004.

как мощнейший инструмент подобного воздействия³. Тем не менее в последнее время в научной среде все чаще предпринимаются попытки пересмотреть эту точку зрения и перенести акцент в изучении распространения кино за границей с идеологического на коммерческий аспект⁴.

Действительно, идеологическая повестка в подходе к экспорту советского кино как к агенту пропаганды советского проекта за рубежом наталкивается на целый ряд бюрократических, экономических и политических препятствий. В рамках государственной монополии на киноиндустрию, прокат фильмов как на территории Советского Союза, так и за его пределами регулируется сначала союзными киноорганизациями, такими как Совкино в РСФСР и ВУФКУ в Украинской советской республике. В 1930-х гг., после централизации управления киноделом в Советском Союзе, для руководства всеми импортно-экспортными операциями создается отдельная организация Инторгкино. Таким образом, использование советских фильмов для решения культурных и идеологических задач не может быть изучено вне контекста институциональных и экономических изменений, затрагивающих советскую киноиндустрию. Если неоднозначная история взаимоотношений Совкино с пролетарскими киноорганизациями уже рассматривалась в научной среде⁵, связи между ответственными за киноэкспорт организациями и агентами советской культурной дипломатии еще не подвергались детальному изучению. В данном исследовании мы предлагаем изучить механизмы предоставления советских фильмов для некоммерческих показов за границей на материалах архивных документов

³ См., напр.: *Cœure S. La grande lueur à l'Est: les Français et l'Union Soviétique, 1917–1939. Paris, 1999. P. 208*; и относительно более позднего периода: *Gallinari P. Cinéma et communisme en France: de la libération au milieu des années 1960. Paris, 2009.*

⁴ *Mityurova E. Tra apertura e diffidenza: il Sovinfilmm e le coproduzioni cinematografiche franco-sovietiche negli anni della distensione // Cinema e storia: rivista annuale di studi interdisciplinari. 2017. № 4. P. 175–191.*

⁵ *Майстат О. «В кармане вошь на аркане»: задачи и этика советского киноэкспорта в Веймарской республике (1926–1932) // Конструируя «советское»? Политическое сознание, повседневные практики, новые идентичности: материалы десятой международной конференции студентов и аспирантов (22–23 апреля 2016 года, Санкт-Петербург). 2016. С. 75–92. См. также: *MacMeekin S. The Red Millionaire: A Political Biography of Willi Münzenberg, Moscow's Secret Propaganda Tsar in the West. New Haven, 2003. P. 174–192.**

трех крупнейших участников их распространения: Всесоюзного общества культурных связей с заграницей (ВОКС), Совкино, а также Инторгкино. В фокусе внимания данного доклада — противоречия и несоответствия, существующие между идеологической риторикой и конкретным воплощением советской культурной дипломатии за рубежом, а также экономические и технические особенности планирования экспорта фильмов.

В первую очередь стоит отметить, что использование кинопоказов в рамках кампаний по культурной и идеологической экспансии советского государства за рубежом исторически основывается не только на визуальной доступности киноизображения, но содержит также и определенную экономическую подоплеку. Первой задокументированной попыткой использовать кино в качестве инструмента культурной дипломатии можно считать кинопоказы⁶, организованные в 1921–1922 гг. в Америке и некоторых европейских странах (Германии, Франции, Швейцарии, Норвегии) в рамках кампаний по сбору материальных средств в поддержку голодающих в поволжских регионах. Во Франции, по свидетельствам журналистов, кинопоказы пользовались успехом: по данным на май 1922 г., общее число пожертвований превысило миллион франков⁷. Как показал Майкл Дэвид-Фокс, часть «остатков» собранных в результате благотворительных кампаний средств были впоследствии использованы на нужды культурной дипломатии, в том числе при создании ВОКС в 1925 г., которое в определенной степени можно назвать структурным наследником организаций, отвечающих за проведение благотворительных кампаний⁸.

Впоследствии организация кинопоказов силами обществ культурной связи с СССР становится рутинным элементом в работе ВОКС: демонстрируемые зарубежной публике фильмы служат не только ярким визуальным и техническим доказательством успешности советской государственной модели, но и являются одним из инструментов не прямой финансовой поддержки симпатизирующих Советскому Союзу организаций. Во Франции среди таких организаций

⁶ В программу входил, в частности, фильм «Голод... голод... голод» (В. Гардин, В. Пудовкин, 1921).

⁷ Cinéa. 1922. 24 mars; Humanité. 1922. 11 mai.

⁸ Дэвид-Фокс М. Витрины великого эксперимента. Культурная дипломатия Советского Союза и его западные гости, 1921–1941 годы. М., 2015. С. 64–80.

можно выделить две основные: Общество друзей Новой России «Рюсси Нев» (*Cercle de la Russie Neuve*), основанное в конце 1927 г. при негласной поддержке ВОКС и организующее свою работу в буржуазной и интеллектуальной среде, а также Общество Друзей Советского Союза (*Amis de l'Union soviétique*), образованное в 1928 г. и курируемое Коминтерном. Наличие открытых субсидий этим организациям со стороны ВОКС могло бы скомпрометировать их независимость от советского государства⁹, в то время как бесплатное или льготное предоставление фильмов и других материалов для показов рассматривается как один из вариантов не прямой поддержки. Если продажа билетов на эти показы была невозможна в ряде стран — во Франции, к примеру, из-за цензурных запретов большинство фильмов можно было демонстрировать только в частном порядке, — значительный интерес к советским фильмам позволяет французским обществам дружбы привлекать новых членов, а также продавать подписки на бюллетени, пополняя таким образом свои материальные ресурсы. Так, например, показ в феврале 1928 г. фильма «Броненосец Потемкин» (С. Эйзенштейн, 1925), официально запрещенного французской цензурой, собирает более тысячи зрителей в зале Гранд Орьян¹⁰. В общей сложности в период между 1928 и первой половиной 1930 г. Обществу Друзей Новой России удается организовать около двадцати сеансов с использованием кинофильмов, полученных при содействии ВОКС, таких как «Сорок первый» (Я. Протазанов, 1926), «Турксиб» (В. Турин, 1929), «Булат-Батыр» (Ю. Тарич, 1927), а также «Обломок империи» (Ф. Эрмлер, 1929) и др. Отметим, что ни один из этих фильмов не выходил в это время в коммерческий французский прокат.

Тем не менее в конце 1920-х — начале 1930-х гг. представители ВОКС периодически сетуют на трудности с получением фильмов сначала от Совкино, а затем и Инторгкино. В частности, в письме, адресованном руководству ВОКС в январе 1928 г., Иван Дивильков-

⁹ О политической независимости, как одном из основополагающих принципов работы Общества Друзей Новой России пишет в своих воспоминаниях, в частности, Поль Лаберенн. См.: *Laberenne P. Du cercle de la Russie Neuve à La Pensée. L'itinéraire de quelques «compagnons de route» // La Pensée. 1979. № 205. P. 10.*

¹⁰ Дневник референта ВОКС по романским странам и Голландии, с 10 марта по 24 апреля 1928 г. // Государственный архив Российской Федерации (далее — ГАРФ). Ф. Р5283. Оп. 9. Д. 46. Л. 18–19.

ский¹¹ обращает внимание Ольги Каменевой¹² на возмутительную историю с фильмом, за который Жюль Гранжуан, будущий основатель Общества Друзей Новой России во Франции, «заплатил деньги еще в ноябре [1927 г. — Н. П.] в Москве, и, несмотря на обещание Совкино выслать через три дня — ждет его до сих пор»¹³. 17 апреля 1930 г. Гранжуан адресует письмо руководству ВОКС, в котором отмечает значительные трудности в получении фильмов в Торгпредстве СССР¹⁴. Отметим, что нежелание Совкино и его представителей содействовать некоммерческим показам не является исключительно французским случаем: согласно исследованиям Жана-Франсуа Файета, в Швейцарии Совкино настаивает на передаче ему Обществом друзей до 50 % средств, собранных в результате показов¹⁵.

Такой порядок может быть объяснен тем, что существующие государственные монополии проката и внешней торговли накладывают ряд ограничений на возможности получения фильмов: практически вся кинопродукция, экспортируемая за границу, находится в ведении представителей кинематографических администраций (Совкино, затем Инторгкино) при Торгпредствах СССР, работающих под контролем Наркомата внешней торговли¹⁶. Из-за ряда юридических трудностей (в частности, оговорок об эксклюзивности в договорах с дистрибуторами), предоставление художественных фильмов для целей ВОКС носит скорее неофициальный характер. В 1929 г., в переписке с руководством ВОКС, Иван Дивильковский упоминает негласную договоренность, достигнутую с Совкино, о том, что его представители до заключения контрактов с иностранными фирмами

¹¹ В 1925–1928 гг. — первый секретарь полпредства СССР и уполномоченный ВОКС во Франции.

¹² Председатель ВОКС со дня его основания до 1929 г.

¹³ И. Дивильковский — О. Каменевой 26.01.1928 г. // ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 1а. Д. 110. Л. 22–23.

¹⁴ Письмо от Гранжуана в ВОКС 17.04.1930 г. // ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 1а. Д. 147.

¹⁵ *Fayet J-F. VOKS: lelaboratoire helvétique*. P. 509.

¹⁶ Если в 1920-х гг. большинство операций проходит через Берлин, в начале 1930-х гг., в связи с изменением политической обстановки в Германии, в Париже при Торгпредстве СССР создается Европейский центр, в задачи которого входит курирование продажи и распространения советских фильмов на ряд европейских стран, в частности Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды.

будут предоставлять в распоряжение «Рюсси Нев» права на один или два бесплатных закрытых показа фильмов.

Однако в большинстве случаев как советские киноорганизации, так и их представители при Торгпредствах за рубежом активно препятствуют организации некоммерческих кинопоказов, особенно в отношении фильмов, имеющих шансы на прохождение цензурных комиссий в зарубежных странах. Симптоматично, однако, что большинство директив, направленных на увеличение количества коммерческих сделок и ограничение проката советских фильмов в некоммерческой сети, оговариваются во внутренней переписке киноорганизаций, в то время как официальная позиция как Совкино, так и последующих администраций советской кинопромышленности¹⁷ декларирует установку на максимально широкий показ советского киноискусства на зарубежных экранах. В частности, в переписке о возможном бесплатном предоставлении фильмов для пропагандистских сеансов Жану Тедеско, владельцу театра «Вье Коломбье» в Париже, представители Совкино отмечают как неуверенность в значимости подобных показов, так и отсутствие прямой материальной заинтересованности в сделке. О позиции Совкино в подобных переговорах недвусмысленно свидетельствует цитата из письма В. Головань, заведующего киноотделом при Торгпредстве СССР: «Товарищ Н. Ф. Гринфельд¹⁸, конечно, отказал, не желая разбазаривать наши шедевры»¹⁹. Такая позиция может быть частично объяснена несоответствием между общей идеологической миссией, возложенной на советские киноорганизации, и конкретными экономическими задачами, поставленными перед ними в рамках советской плановой экономики. Так, например, если в августе 1936 г., в момент обострения политической обстановки в Испании, Главное управление кинематографии (ГУК) озвучивает установку на максимальный охват советскими фильмами наибольшего количества экранов и зрителей, не останавливаясь перед снижением и даже отказом от выручки, валютный и экспортный план, обозначенный Госпланом на 1937 г., не предусматривает значи-

¹⁷ Союзкино, Главное управление кинофотопромышленности, Главное управление кинематографии.

¹⁸ Уполномоченный Совкино во Франции в 1926 г.

¹⁹ Письмо на имя Совкино от заведующего киноотделом Торгового представительства СССР во Франции 29.07.1927 г. // Российский государственный архив литературы и искусства (далее — РГАЛИ). Ф. 2496. Оп. 2. Д. 3. Л. 44.

тельного снижения валютных поступлений, тем самым фактически убивая на корню инициативу ГУК²⁰.

Таким образом, принятая система координат, при которой распространение советского кино за рубежом рассматривается преимущественно как инструмент идеологического воздействия, должна быть пересмотрена через призму экономических и ведомственных ограничений, накладываемых советской системой управления киноиндустрией. Существующая система монополий на прокат и на внешнюю торговлю лишает ВОКС и дружественные ему организации независимости в выборе кинофильмов и организации кинопоказов, а советские киноорганизации, в свою очередь, оказываются связанными по рукам и ногам жесткими рамками государственного экономического планирования. Одновременно, французская цензура, активно запрещающая советские фильмы (в том числе такие шедевры как «Мать» В. Пудовкина и «Броненосец Потемкин» С. Эйзенштейна), в какой-то степени играет на руку советской культурной дипломатии: не имея возможности продать фильмы в коммерческий прокат, Совкино и Инторгино охотно предоставляют запрещенную кинопродукцию для закрытых кинопоказов.

²⁰ На 1937 г. Госплан утверждает план реализации в размере 1 850 000 рублей (см.: Отчет директора Европейского центра ГУК за 1937 г. // РГАЛИ. Ф. 2918. Оп. 1. Д. 2. Л. 22.), что на 12 % меньше 2 072 000 рублей, предусмотренных в 1936 г., и на 14 % больше плана 1934 г.

Андрей Ткаченко / Andrei Tsacenco

University of California, Santa Cruz, USA

Department of History

PhD Candidate

atcacenc@ucsc.edu

COLLECTIVISM, MORALITY, AND LATE SOCIALIST SOVIET CHILDHOOD: 1960–1984

A Soviet political joke from the 1970s stated that Stalin, Khrushchev, and Brezhnev are on a train together. Once the train stops moving, Stalin orders to shoot the machinist, but the train does not move. Khrushchev orders to rehabilitate the machinist, but the train still does not move. Finally, Brezhnev stands up and says “Comrades, why do we need to go anywhere? Let us stay where we are, put down the blinds, sing some songs, and rock the train to pretend that we are in motion!” This particular joke captured the zeitgeist of “mature socialism” in the Soviet Union during the late 1960s and 1970s, a time of stable, but weak economic growth, ostensibly formulaic political discourse, increasing social problems such as crime and alcoholism, and the rule of an out of touch political elite. The joke implied that Leonid Brezhnev and the Politburo in Moscow were willing to ignore the rising social and political issues, as Soviet society failed to progress towards a bright communist future in any meaningful sense.

Despite this, Brezhnev repeatedly stated that the Soviet Union was fighting for social progress and the future of communism. In a speech to the 24th Party Congress in 1971, Brezhnev stated that “it is impossible to make advances in the great task of building communism... without advancing the person themselves”¹. Brezhnev went on to say that, “Without a high level of culture, education, social consciousness and personal maturity, communism is impossible”². Drawing on Khrushchev’s language on parasitism and freeloading, Brezhnev stated that “Communist morality and the communist worldview manifest themselves in a constant fight with the remnants of the past. We cannot have a victory of communist morality without destroying greediness, bribery, and freeloading (*styazha-*

¹ Голиков В. Советский Союз — Справочник. М., 1975. С. 366.

² Там же. С. 366.

tel'stvo, vzyatochnichestvo, i tuneyadstvo)”³. Echoing Brezhnev’s calls, a 1977 televised documentary film from the Moldavian SSR asked: “How do we make a moral person?” Arguing that social relations in Soviet society determine a person’s character the movie also asked, “Where, in our humanist society, do we find moral freaks? (*nравstvennyye urody*)”⁴. The directors of this documentary stated that the goal of the film is to explore when a person’s individual morality forms, and the interventions society can take to form a righteous individual. Far from stagnating, Brezhnev’s speech implied that the Soviet state was building a bright, moral communist future on a much more intimate, individual, and personal level.

Communist Morality and Soviet Childhood

Scholars such as Deborah Field, Brian LaPierre, and Stephen Bittner have already explored popular anxieties around communist morality in the Soviet Union during the Thaw period. Far from the relaxation suggested by the metaphor of the Thaw, these scholars have shown that the USSR after Stalin underwent a tightening of social discipline, where neighborhood councils, so-called “comrade courts”, and ideologically driven groups of volunteers enforced a strict and repressive code of socialist morality onto friends, neighbors, and coworkers⁵. Furthermore, historians such as Margaret Peacock have pointed out how both the United States and the USSR utilized images of children to mobilize support for their respective state’s policies at home and abroad⁶. This article bridges these two bodies of literature by exploring how discourses on communist morality shaped ideas of child-rearing and moral Soviet childhood.

Pamphlets for parents such as “Family and School” suggested that the Soviet family was the primary guardian of communist morality. This pamphlet from 1984 stated that “The Soviet family has many resources to

³ Брежнев Л. Материалы XXIV Съезда КПСС. М., 1971. С. 109.

⁴ Дело хроникально-документального телевизионного фильма «Чем нами слово отзовется», 1976–1977 гг. // Молдавский Архив Национальной Истории (далее — МАНИ). Ф. Р-3343. Оп. 2. Д. 29. Л. 2.

⁵ Bittner S. *The Many Lives of Khrushchev’s Thaw: Experience and Memory in Moscow’s Arbat*. Ithaca, NY, 2008; Field D. *Private Life and Communist Morality in Khrushchev’s Russia*. New York, 2007; LaPierre B. *Defining, Policing, and Producing Deviance During the Thaw*. Madison, 2012.

⁶ Peacock M. *Innocent Weapons: The Soviet and American Politics of Childhood in the Cold War*. Chapel Hill, NC, 2014.

resolve the questions of raising a new moral generation.... A new type of social relations has changed society and created equality in the family”⁷. The pamphlet went on to say that “the modern family gives children their first understanding about the norms of communist morality”⁸. Echoing this sentiment, a 1976 didactic film for young parents from the Moldavian SSR stated that “the house, the family, are the beginning of beginnings for young people. No matter which kinds of systems we create, a moral education always starts in the house”⁹. Another pamphlet echoed these claims and wrote that “A child, who has appeared in this world, even without realizing it immediately becomes a member of the family collective (*semeyniy kollektiv*).... And labor in this collective is essential for forming a moral person”¹⁰. The same pamphlet even went as far as to say that the child does not completely belong to his parents, but society at large, stating that “The child belong to not only the family, as they grow up they belong to different organizations, including kindergarten, school, the pioneers, etc.... School, pioneer organizations, and the Komsomol value the importance of this pattern”¹¹. The pamphlet implies that simply by the virtue of being born in a socialist society, the child immediately becomes the responsibility of not only the family collective, but other kinds of socialist collectives.

Didactic manuals and journals for Soviet parents throughout the 60s and 70s implied that different collectives had different obligations in the project to create the New Socialist Person. In contrast to family collectives, so-called “child collectives” had a moral obligation to support their peers in difficult times. A Soviet family pamphlet from 1972 stated: “Something bad happened in the family of your son’s comrade. How will his friends respond to this? Will they notice their friend’s sour mood, will they share his grief? Or will they not care and just laugh? Your son will receive a lesson in either humanism or in callousness. The atmosphere in the

⁷ Байдельдинова Г. Семья и школа формируют человека. Алма-Ата, 1984. С. 6–7. The article implied that the modern Soviet family had many resources for childrearing available to them, such as child psychologists, free healthcare for children, and free education.

⁸ Там же. С. 10.

⁹ Дело хроникально-документального телевизионного фильма «Чем нам слово отзовется», 1976–1977 гг. Л. 2.

¹⁰ Курин О. Мы продолжаем себя в детях. Киев, 1972. С. 134–135. The article seems to imply the important value of reproductive labor by both parents here.

¹¹ Там же. С. 134.

little child collective which your son inhabits effects the formation of this young person. In conclusion, things your child experienced in the child collective is a powerful force... to make him more personable, humane, and spiritually enriched"¹².

The pamphlet implies that each collective has its own respective responsibility to raising moral Soviet citizens. Furthermore, the pamphlet put the burden of raising moral Soviet children as well adults. Rather than being passive agents in the construction of the New Socialist Person, children were expected to be active participants, helping shape an understanding of their obligation to their peers and to Soviet society. Instead of simply being a disciplinary tool to control Soviet children, morality and collectivism functioned as a guide to the positive duties of Soviet people, echoing the sixth tenet of the Moral Code of the Builder of Communism—humane relationships between human beings: One human being is a friend, a comrade and a brother to another human being¹³.

When Soviet children misbehaved and broke the law, parents were often the primary culprits, as Soviet courts blamed either a lack of parental supervision or apathy within local collectives for misbehaving and criminal children. One court audit from the Russian Federated SSR from 1963 stated that “one of the main reasons for the growth statutory or child rape cases in the republic is the lack of parental guidance and parental supervision”¹⁴. Consequently, parents were often blamed even when their kids were victims of violent crimes. One court case from the city of Ostrogozhsk in the RSFSR from 1962 lamented that parents were too busy with work and left their kinds with no supervision, leading their neighbor to “do whatever he wanted with their children”¹⁵. The court records took no sympathy on the material situation of the parents, both of whom worked to support the family.

Courts also blamed criminality among teenagers on behavior observed from parents. One internal court memo stated that “when a crime is committed by someone between the ages of 14 and 17, their behavior

¹² Там же. С. 136.

¹³ I am invoking the term “positive obligation” from human rights law, which denotes positive obligation as the state’s duty to secure a fundamental right, rather than a classical negative obligation to abstain from human rights violations.

¹⁴ Доклады и обобщения судебной практики по отдельным категориям уголовных дел, проведенные в СССР, 1963 г. // Государственный Архив Российской Федерации (далее — ГА РФ). Ф. А-353. Оп. 15. Д. 71. Л. 9.

¹⁵ Там же.

is not controlled by anyone.... The main factors [in their behavior] are the bad living conditions in which they often witness their parents having sex, they participate in family fights, and often hear adult conversations. In many cases the parents are to blame, who scar the psyche of their children”¹⁶. Another memo from 1968 echoed this sentiment and stated that “every fourth teenager who committed a crime lived in a house where the parents had a bad relationship and constantly fought.... [These teenagers] were badly raised by their parents, 72 % did not have any responsibilities in their home. The parents did not care how their children spent their time, even though 36 % of the accused spent their time drinking and playing cards”¹⁷. While the court documents do mention bad living conditions, the memo quickly concludes that any problems with behavior were a direct result of parental decision and parental behavior. In this case, a lack of guiding role models was the dominant culprit in teenage hooliganism, suggesting a downward devolution of responsibility for childrearing from state organs to parental figures.

Other times, the rise in crime was blamed on the fact that children simply did not receive enough lectures on communist morality. With regards to once case from Arkhangelsk involving two teenagers accused of assault, one court memo from 1964 from the Supreme Court of the RSFSR stated that “one college from the Arkhangelsk local court admitted that... neither at the logging factory, nor the school which the two teenagers attended... had any lectures on the topic of the moral comportment of young Soviet people.” While it is unlikely that simply lectures on communist morality would have prevented this crime, the court memo suggests that prosecutors believed in the efficacy of these lectures to transform Soviet people into model communist citizens¹⁸.

State authorities also called on Soviet schools in order to properly educate Soviet students on Soviet morality. A 1977 memo from the committee of Soviet pedagogues stated that “we need to unite the work of factory collectives with the work of schools”¹⁹. Invoking martial metaphors,

¹⁶ Доклады и обобщения судебной практики по отдельным категориям уголовных дел, проведенные в СССР, 1963 г. Л. 10.

¹⁷ Протоколы Верховного Суда СССР, 1968 г. // ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп. 1. Д. 499. Л. 4.

¹⁸ Доклады и обобщения судебной практики по отдельным категориям уголовных дел, проведенные в СССР, 1963 г. Л. 25.

¹⁹ Отчет Центрального Совета Педагогического Общества РСФСР о работе по повышению и эффективности и качества обучения и коммунисти-

state organs called on the “enormous army... of pedagogues” to actualize the enormous task of “raising good communists”²⁰. Linking the role of family and school collectives, one member of the pedagogue collective even suggested that local Party organs create “one or two-year long university programs for parents to educate local families on basic elements on psychology, and psychiatry in order to raise good communists”²¹. Meanwhile, in the city of Lviv in the Ukrainian SSR, the local Party organs even set up co-called “courts of parental honor,” which ensured that Soviet citizens were educating their children in an ideologically correct manner²². These memos suggest that state organs sought to arm Soviet parents with the tools necessary to raise moral communists. Furthermore, some educational collectives took their didactic role seriously, forming seminars to educate Soviet citizens on norms of communist morality. However, when these measures failed, Soviet state organs used more punitive approaches and used courts to institute state-sanctioned forms of behavior.

Sometimes Soviet pedagogues even formed schools for educating young Soviet criminals in the norms of communist morality. One memo from the Supreme court of the USSR stated that “when courts consider cases in which a minor committed a crime, they do not pay enough attention to the educational aspect of the judicial process. Prosecutors do not call parents or factory collectives as witnesses in the case”²³. The memo not only suggests that the judicial system often functioned in a didactic role, but that various kinds of collectives played an integral part in educating transgressors of morality. Some courts took this role seriously, and even formed schools for teenage criminals. In the city of Dushanbe in the Tajik SSR, the local city court formed a so-called re-educational school for young transgressors where the students were taught how to become upstanding, moral communists²⁴.

ческого воспитания молодежи в свете 25-го съезда КПСС. 1977 г. // ГА РФ. Ф. 10235. Оп. 1. Д. 22. Л. 3.

²⁰ Там же.

²¹ Там же. Л. 28.

²² Информация райкомов, горкомов Компартии Украины о выполнении о выполнении постановлений ЦК Украины за 1961 г., о мерах по усилению борьбы с проявлениями преступности в отдельных местах и районах УССР // Архив Львовской Области. Ф. П-3. Оп. 9. Д. 226. Л. 53.

²³ Протоколы Верхового Суда СССР, 1968 г. // ГА РФ. Ф. Р-9474. Оп. 1. Д. 499. Л. 5.

²⁴ Там же. Л. 10.

Conclusion

The late Khrushchev and Brezhnev periods in Soviet history underwent significant shifts surrounding debates on communist morality and collectivism. Much of this discourse was predominantly focused on children and childrearing, as Soviet parents, local collectives, and Soviet courts argued over the role of the state in creating the moral Soviet citizen. As local collectives and local courts appropriated official language for their own benefit, they laid the groundwork for arguments over Soviet youth and morality during Gorbachev's Perestroika in the 1980s.

Татьяна Ускова

Московская высшая школа социальных и экономических наук
студентка 1 курса
taniioja@gmail.com

ИЗ ЧЕГО СДЕЛАНА НОСТАЛЬГИЯ ПО СОВЕТСКОМУ? СЛУЧАЙ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПАМЯТИ О ЧЕРНОБЫЛЕ

**Введение: тема, проблема исследования
и источники**

Взаимоотношения травматической памяти о советском и ностальгии по нему же — это вопрос, интересующий многих исследователей. Отправной точкой для него является понимание памяти о советском как травматической, причем связанной не только с травматичностью самого советского опыта, но и с травмой его утраты.

Распад СССР можно рассматривать как «постсоветскую культурную травму»¹. Хотя эта концепция требует доработки, понимание 1980–90-х гг. как периода, когда на советском пространстве происходили трансформации, разрывы и сломы коллективных идентичностей, в сообществе исследователей² стало общим местом.

Согласно социологическим опросам Бориса Дубина, хотя в 1991 г. процесс распада не воспринимался как травма³, уже в середине 1990-х гг. формируется негативное восприятие распада СССР и перестройки, лидеры которой «привели страну к разва-

¹ *Платт К.* Аффективная поэтика 1991 года: ностальгия и травма на Лубянской площади // Новое литературное обозрение. 2012. № 116. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2012/116/k15.html>; *Штомпка П.* Культурная травма в посткоммунистическом обществе // Социологические исследования. 2001. № 2. С. 3–12.

² *Oushakine S. A.* The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia. New York, 2009; *Rutten E., Fedor J., Zvereva V.* Memory, Conflict and New Media. Web Wars in Post-socialist States. London; New York, 2013.

³ *Дубин Б.* Точка, линия, дата, или Год, которого не стало // Новое литературное обозрение. 2007. № 84. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2007/84/du16.html>; *Левинсон А.* 1990-е и 1990-й: социологические материалы // Новое литературное обозрение. 2007. № 84. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2007/84/le15.html>.

лу»⁴. В то же время сам период перестройки и его реформы исчезают из коллективной памяти, а государство проводит активную политику забвения (или амнезии) в их отношении⁵. Коллективное чувство утраты формируется также медийным пространством и в речах государственных деятелей. Например, В. В. Путин регулярно называет распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой»⁶.

Таким образом, можно постулировать, что распад СССР является в некотором роде хоть и сформированной отчасти впоследствии, но культурной/коллективной травмой современного российского общества.

Травматическим же является и опыт аварии на Чернобыльской АЭС. Факт восприятия Чернобыльской аварии как культурной травмы⁷ можно подтвердить социологическими опросами, демонстрирующими, что для российского населения в 1989–1990 гг. травмами являются лишь два события: Вторая мировая война и Чернобыльская авария⁸. При этом важно, что для наиболее пострадавших стран (в т. ч. России) Чернобыль стал травматичен в *политическом* смысле. Противоречивые действия центрального правительства — такие как сокрытие информации о трагедии, устранение последствий без внимания к жизни и здоровью ликвидаторов и др. — напрямую связывают чернобыльские события с образами государства и отношением к нему, существующими в коллективной памяти и воображении на постсоветском пространстве.

На государственном уровне в России не существует четко проработанной линии политики памяти в отношении Чернобыля, од-

⁴ Дубин Б. Коллективная амнезия как форма адаптации: перестройка и девяностые годы в оценках «нулевых» // Вестник общественного мнения. 2011. № 2(108). С. 93–98.

⁵ Дубин Б. «Кровавая» война и «великая» победа // Отечественные записки. 2004. № 5. URL: <http://www.strana-oz.ru/2004/5/krovavaya-voyna-i-velikaya-pobeda>.

⁶ См., напр.: Путин объяснил, почему считает распад СССР крупнейшей катастрофой XX века // РИА Новости. 2017. 13 июня. URL: <https://ria.ru/politics/20170613/1496353896.html>; Путин снова назвал распад СССР «безусловной трагедией» // РБК. 2015. 22 окт. URL: <https://www.rbc.ru/rbcfrenews/562913189a79477c0bb9d78a>.

⁷ Александер Дж. Культурная травма и коллективная идентичность // Социологический журнал. 2012. № 3. С. 6–40.

⁸ Дубин Б. Конец века // Неприкосновенный запас. 2000. № 6(14). URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2000/6/dubin.html>.

нако в Рунете наблюдается существенная тенденция к сохранению памяти об аварии. Огромное количество сайтов-мемориалов (самый известный из них — griyat.com) свидетельствует о необходимости коммеморации, присутствующей в современном российском и — более широко — постсоветских сообществах. На мой взгляд, эта тенденция может объясняться популярной идеей о связи — исторической и политической — между Чернобыльской катастрофой 1986 г. и распадом СССР в 1991 г. В массовом сознании людей из бывших социалистических республик⁹ авария на ЧАЭС понимается если не как предпосылка, то как одна из ключевых точек, приведших к распаду СССР. Нередко Чернобыльская авария понимается и шире — как *метафора* распада Советского Союза.

Если обратиться к понимаю коллективных травм Домиником ЛаКапра, существует два типа взаимодействия с травмами: это либо их отыгрывание, заключающееся в фиксации на травме, либо их проработка¹⁰. Если первый путь способствует закреплению травмы, то второй, согласно ЛаКапра, помогает ее преодолению.

В моем исследовании, опираясь на предполагаемую ассоциативную связь чернобыльской аварии и распада СССР (и, соответственно, коллективных травм, связанных с ними), я пытаюсь рассмотреть механизмы, блокирующие возможную проработку травмы, связанной с утратой советского, а именно образы, возникающие из реставрирующей ностальгии, в пространствах интернет-сообществ, посвященных памяти о Чернобыле.

Согласно концепции Светланы Бойм¹¹, ностальгию можно разделить на два типа: реставрирующую и рефлексирующую. «Реставрирующая ностальгия ставит акцент на *nostos* — дом и пытается восстановить мифическое коллективное место обитания»¹². Иначе говоря, реставрирующая ностальгия имеет тенденцию к «тотальной

⁹ *Petryna A.* Life Exposed: Biological Citizens after Chernobyl. Princeton, NJ, 2002; *Zhukova E.* From Ontological Security to Cultural Trauma: The Case of Chernobyl in Belarus and Ukraine // *Acta Sociologica*. 2016. Vol. 59. N 4. P. 332–346; и др.

¹⁰ *LaCapra D.* Trauma, Absence, Loss // *Critical Inquiry*. 1999. Vol. 25. N 4. P. 696–727.

¹¹ *Бойм С.* Будущее ностальгии // *Неприкосновенный запас*. 2013. № 3(89). С. 118–138.

¹² Там же. С. 120.

реконструкции монументов прошлого», а рефлекслирующая пытается его критически осмыслить.

Я утверждаю, что в сообществах, посвященных памяти о Чернобыле, архивные материалы времени «до аварии» относятся именно к реставрирующей ностальгии. Они формируют образ советского именно через этот тип ностальгии, участвуют в идеализированной реконструкции советского прошлого и иллюзии возвращения «домой». Более того, мое предположение заключается в том, что центром подобной реставрирующей ностальгии является миф о государственном патернализме, защищающем и заботливом государстве, что я и попробую доказать в докладе.

Попытка найти и обозначить ключевые аспекты реставрирующей ностальгии (связанной более с отыгрыванием травмы, нежели с проработкой) может способствовать формулированию как причин, по которым происходит блокирование проработки травмы, так и, хотелось бы надеяться, идей, каким образом эту коллективную травму утраты советского можно проработать.

Несмотря на то что Чернобыльская авария имела существенные последствия не только для русскоязычного населения, мой интерес направлен именно на русскоязычную часть интернета. В качестве источников исследования взяты мемориальные сообщества о Чернобыле в социальной сети «ВКонтакте» — как наиболее популярной сети Рунета. Основным «ядром» материала стали три сообщества, обладающие наибольшим количеством участников. Ключевыми материалами сообществ стали фото- и видеосъемки Припяти до аварии — архивные и личные свидетельства 1986 г., а также вызванные ими дискуссии среди подписчиков. Для ограничения объема информации было решено ограничиться альбомами одной, самой крупной группы в социальной сети — «Чернобыль», так как фотографии и видео в архивах нередко дублируются.

Хронологические рамки анализа ограничиваются 2016–2018 гг.: годом, когда проводилось данное исследование, и годом 30-летия катастрофы, во время которого наблюдался медийный рост интереса к Чернобыльской проблематике.

Идеализация города

Одним из ключевых элементов реставрирующей ностальгии в интернет-сообществах, посвященных Чернобылю, является идеализация советского прошлого. Ее можно разделить на два типа: утопический

образ города Припяти (как города и как советского проекта) и ностальгическую репрезентацию советской повседневности. Важнейшим аспектом реставрирующей ностальгии становятся также образы позднесоветского детства.

Идеализация Припяти формируется посредством выставления фотографий его строительства, городских пространств и «достопримечательностей», которые вызывают ностальгические комментарии подписчиков. Первый из формирующихся образов — это восприятие города как города грез: «Дорога в город мечты», — пишет один из пользователей под фотографией въездной дороги.

Можно предположить, что понимание Припяти как города мечты связано с образами закрытых городов в целом, продолжающих циркулировать в постсоветском пространстве. Такие закрытые города чаще всего представлялись некоторыми островками утопии, «моделью идеальной жизни в государстве Советов»¹³.

Согласно Бойм, реставрирующая ностальгия базируется на примитивных представлениях о бинарности добра и зла. Ностальгия по такому дому связана с представлениями о богатстве, чистоте, безопасности, красоте города, — иными словами, через обсуждение подобных фотографий происходит формирование тотального образа «красивого» (семантически приравненного к «доброму») в категориях добра и зла) утраченного дома.

При этом важно, что на полюсе «доброты» пользователями в один ряд с красотой ставятся чистота и безопасность, а среди главных мест города оказываются ДК «Энергетик» и бассейн «Лазурный» — образцы государственной заботы о населении. Можно сделать вывод, что «ядром» ностальгии по Припяти становится мифический образ города, в котором государство заботится о своих жителях, обеспечивает их максимальными благами и бережет от опасности — разрухи, травм, потерь и пр.

У пользователей наблюдается потребность в проживании этого мифологизированного города. Кто-то пишет о желании прогуляться по городу: «А походить бы там в то время, посмотреть, послушать, что было и как стало...»; другие сетуют на блеклые цвета черно-белой фотографии и занимаются цифровым раскрашиванием (colorizing) фотографий — последнее массово распространено в подобных

¹³ *Лебина Н.* Пассажиры колбасного поезда: этюды к картине быта российского города: 1917–1991. М., 2019. С. 12. Подробнее см.: *Мельникова Н.* Феномен закрытого атомного города. Екатеринбург, 2006.

сообществах. Стирание следов времени (таких как черно-белая пленка) способствует еще большему погружению подписчиков в мифическую реальность «тотального образа» идеальной Припяти. Красочность такого опыта формирует представление о сказочности мифа о советском: визуально ярком утраченном прошлом, существующем на грани с экзотизацией и глорификацией прошлого.

Идеализация повседневного опыта

Важной частью реставрирующей ностальгии становятся образы советской повседневности. Их многообразие можно сравнить с этюдами к картинам советского быта в книге Наталии Лебиной «Пассажиры колбасного поезда»: в фотоальбомах и видеоархивах присутствуют свадьбы, городские праздники, парикмахерские, линейки у школы, празднование Нового года и др. При этом, действительно, и ЗАГС, и новогодний антураж, и парикмахерская перекликаются с выбранными Лебиной темами.

Хотя представления о быте многообразны, можно заметить, что больше всего они связаны с коллективными опытами повседневности. Отталкиваясь от моей идеи о мифе патернализма, лежащем в основе подобной ностальгии, можно предположить, что коллективные представления связаны с идеями об утраченной общности, «семейности», коммуникативных связях — при сильном патерналистском государстве.

Детство перед катастрофой

Ключевой для моего предположения о центральной роли мифа о патернализме в реставрирующей ностальгии подписчиков становится тема детства. Фотографии, связанные с детством — например с детьми, играющими на улице, — настолько популярны, что повторяются в большинстве сообществ о Чернобыле. В публикациях, связанных с детскими вещами и игрушками, люди отмечают, что и у них были точно такие же ролики, велосипеды или даже детские горки во дворе. Фотография с велосипедом модели «Дружок» на 2018 г. имеет порядка 60 комментариев. Пользователи жалеют о том, что больше подобных игрушек нет, желают вернуться в советское детство и обсуждают радостные детские воспоминания.

С одной стороны, важную роль в таком влечении к материальным предметам детства играет коммуникативная функция: они образуют

некоторую поколенческую категорию людей, то самое «последнее советское поколение»¹⁴. Согласно Хосе ван Дайку, такие «медиированные» воспоминания подобны предметам из «коробки из-под обуви»: они «выступают медиаторами отношений между индивидами и разными группами»¹⁵. Можно предположить, что подобные предметы детства являются именно медиаторами воспоминаний, основывающимися коллективную идентичность.

В то же время память о таком детстве укоренена в травме его утраты. Детство здесь является образом защищенности, моментом, когда катастрофы (в случае анализируемых интернет-сообществ — Чернобыльской аварии, если смотреть шире — распада СССР) еще не случилось. Эти воспоминания проникнуты предчувствием катастрофы — пользователи пишут: «...даже и подумать невозможно, что страшное грядет», — и ужасаются тому, что люди на фотографиях ничего не знают о приближающейся трагедии. Чернобыльская авария, и шире — утрата советского, воспринимаются как травма, которая вырывает постсоветского пользователя из детства. Как заметил Платт, в постсоветском пространстве детское и советское переплетаются; более того — ключевым в этом переплетении становится мечта о патернализме, т. е. защищенности, государственной заботе и опеке.

Мифологизирующие образы доаварийной Припяти основываются именно на этих идеях защищенности — представлениях об утраченной заботе государства, желании возвращения патернализма посредством утопизации и глорификации образов СССР и проведенного в нем «беззаботного» детства. Можно предположить, что именно желание патернализма — т. е. отказ от личной ответственности в обмен на индивидуальную свободу — и является ядром реставрирующей ностальгии в исследуемых сообществах и того, что блокирует возможную проработку т. н. «постсоветской травмы».

¹⁴ Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М., 2014.

¹⁵ *Dijk J., van. Mediated Memories in the Digital Age. Stanford, CA, 2007. P. 1.*

Наталья Фаликова

University of Manchester / Московская высшая школа социальных
и экономических наук,
программа «История советской цивилизации»
магистрантка 2 курса
nfalikova.95@gmail.com

ПРОЛЕТАРИЗАЦИЯ И САКРАЛИЗАЦИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО ТРУДА В РИТОРИКЕ «СЕРАПИОНОВЫХ БРАТЬЕВ»

«Здравствуй, брат, писать очень трудно» — это приветствие, с которым, по легенде, обращались друг к другу участники литературно-критического сообщества «Серрапионовы братья» в 1920-х гг. В 1965 г. вышла книга воспоминаний с этим названием, написанная одним из «братьев» — Вениамином Кавериним. В постсоветском пространстве фраза стала локальным мемом, позволяющим любителю рассуждать о творчестве и творце¹, а профессионалу — начать популярное эссе на околотворческую тему². Сам по себе лозунг не так интересен, но история его создания и бытования в послереволюционный период, а также последующая советская и постсоветская мифологизация позволяют сделать важные выводы о самовосприятии и саморепрезентации творческой интеллигенции периода нэпа.

Кто такие «Серрапионовы братья» и зачем изучать распространенные в их небольшой группе ритуалы? «Серрапионовы братья» (1921–1929)³ — неформальное сообщество молодых литераторов и критиков, существовавшее без манифеста, без единой эстетиче-

¹ *Luchkina*. «Здравствуй, брат! Писать очень трудно» // Пост в Живом Журнале от 14.03.2009. URL: <https://esenin-1925.livejournal.com/24999.html>; *Светлый до полуночи*. Пост на Яндекс.Дзен от 18.03.2018. URL: <https://zen.yandex.ru/media/id/5a1b0b2e830905b5c1095fb7/zdravstvui-brat-pisat-ochen-trudno-5aae79387dde833424b7385>.

² *Генис А.* «Здравствуй, брат, писать очень трудно» // Радио свобода. 30.01.2003. URL: <https://www.svoboda.org/a/24200029.html>.

³ У сообщества не было официальной даты «ропуска», поэтому я даю распад группы по кризисной точке — делу Пильняка и Замятина.

ской или политической «программы»⁴, без прочной связи с какой-либо институцией. Это кейс, хорошо известный историкам культуры с фактической стороны. Внимание исследователей привлекает то, что в 1921–1922 гг. критики много писали о «серапионах» как о «новой революционной советской литературе», а в 1930-е гг. бывшие участники группы стали популярными писателями (М. Зощенко, Н. Тихонов, Вс. Иванов), перспективными беллетристами (В. Каверин, Е. Полонская, Н. Никитин) или видными функционерами от литературы (К. Федин, М. Слонимский). Не менее важно с точки зрения истории сообщества, что «серапионы» в 1940–70-х гг. много писали о себе и своем времени, особенно часто вспоминая 1920-е гг. и свое «братство»⁵.

История культуры 1920-х гг. много внимания уделяет отдельным авторам, стилистическим тенденциям, процессу централизации литературы. Картина не может быть полной, если не показать, что вместе с институциями, наиболее заметными авторами и стилистическими тенденциями действуют небольшие сообщества, внеинституциональные, самоорганизующиеся, часто того или иного «переходного» типа. Такими были известные литературные группы («салонные» эмоционалисты, имажинисты), а также разнообразные творческие, научные и мистические кружки 1920-х гг. Сообщества такого рода не хуже, чем институциональные, формируют своих участников, их представления о норме и общности⁶. Так, бывшие «серапионы» вспоминали о своей принадлежности к братству до самой смерти, причем нередко апеллировали к этому периоду как к источнику формирования высших профессиональных и этических ценностей⁷.

⁴ Единственный известный манифест «Почему мы Серапионовы братья» (1921) Л. Лунца был подписан только его именем и являлся частной инициативой.

⁵ Обзор мемуаров «серапионов» о 1920-х гг. см. в: *Павловский А. И.* Последний роман последнего серапиона: «Эпилог» В. Каверина // *Русская литература.* 1997. № 4. С. 111–114.

⁶ Важной исторической работой, описывающей в том числе принципы функционирования небольших внеинституциональных сообществ и их самовосприятие, является монография Ю. Слезкина: *Slezkine Y.* The House of Government: A Saga of the Russian Revolution. Princeton; Oxford, 2017.

⁷ См. описание одного такого кейса в: *Фрезинский Б.* Заколдованная книга, или Бремя памяти // *Судьбы Серапионов: портреты и сюжеты* / под ред. Е. Динерштейна, Б. Фрезинского. СПб., 2003. С. 428–472.

Чтобы показать, как сформировались эти ценности, а также представления о советском писателе и литературном коллективе, я анализирую приветствие «Здравствуй, брат, писать очень трудно» как дискурсивную практику⁸. Эта фраза представляет интерес именно в контексте, ее значение обнаруживается на фоне других эго-документов «серапионов», на которые повлияли ключевые концепции труда, появившиеся после революции. Я реконструирую языковой и социальный смысл ритуального приветствия: какое место «серапионы» занимали в системе советских саморепрезентаций, создавая такую вербальную практику и миф о ней.

У «Здравствуй, брат, писать очень трудно» есть понятное значение — «быть писателем чрезмерно сложно». Однако языковое строение приветствия и формат его употребления намекают, что за этой формулировкой есть подразумеваемый, понятный только посвященным смысл. Подобная «интимная» лаконичность создается за счет обращения «Здравствуй, брат», которое сразу наделяет обоих собеседников ролевыми функциями «равных» и «близких». Этот тип обращения был своего рода паролем, способом сказать другому: «Я свой». Показательно, что Максим Горький, духовный наставник «серапионов», использовал в переписке с ними похожее «рабочее» приветствие, но в его формулировке нет интимного включения в круг равных: «Крепко жму руку, будьте здоровы и работайте больше»⁹.

Доступный посвященным смысл фразы можно реконструировать по переписке «серапионов» первой половины 1920-х гг. Трудности и преодоление трудностей были одновременно и частью реальной жизни сообщества, и частью их мифа молодых советских художников. В переписке «братьев» друг с другом и с друзьями очевидной нормой являлись жалобы на усталость, отсутствие денег, обилие административной работы, бюрократию¹⁰. Жалобы на писательский

⁸ О дискурсивном анализе и советской субъективности см.: *Halfin I. From Darkness to Light: Class, Consciousness, and Salvation in Revolutionary Russia*. Pittsburgh, 1999; *Hellbeck J. Revolution on my Mind: Writing a Diary under Stalin*. Cambridge, 2006.

⁹ М. Горький — В. Каверину 08.02.1923 // Лит. наследство. Т. 70. Горький и советские писатели: неизданная переписка / ред. И. С. Зильберштейн, Е. Б. Тагер. М., 1963. С. 175.

¹⁰ Хотя бы одна из этих тем присутствует в каждом развернутом «серапионовском» письме, см. в: «Серапионовы братья» в зеркалах переписки / вступ. ст., сост., коммент., аннот. указ. Е. Лемминга. М., 2004.

быт были очевидным способом облегчить трудности, превратив их из препятствий в объединяющий фактор сообщества, которое борется за свое место в истории. Эти конкретные реалии и их восприятие «братьями» составляют важный фон для менее очевидных контекстуальных значений «трудного письма».

Самое важное контекстуальное значение заключалось в том, что «серапионы» ритуально провозглашали литературу тяжелой работой. С этим были связаны их частые рассуждения о творчестве как о деятельности, к которой можно или нельзя применять логику других типов труда. В письмах «братьев» можно найти упоминания о логике «спроса» и предложения в литературе¹¹, о литературе как о «линии живой работы»¹², как о способе борьбы с «халтурой» (с браком)¹³, как о «поднятии целины»¹⁴. Идею творчества как труда должна была подкрепить демонстративная коллективность «братьев»: «Продолжаем жить и работать скопом»¹⁵. Каждый из участников исполнял свою роль, ударно и в идеологическом единстве с остальными: «Один работает над сюжетом [Лунц? — Н. Ф.] <...>, другой — над словом [Никитин? — Н. Ф.] <...>, третий — над фольклором (Зощенко), над пересадкой на русскую почву германской фабулы (Каверин). Достичь идеального уместения наибольшего числа элементов, из которых слагается повесть, в одном произведении — вот цель, смысл, оправдание нашей работы. Если нам не удастся, удастся следующему поколению...»¹⁶

Виктор Шкловский предполагал, что «серапионы» держатся вместе, только пока в СССР нет достаточных возможностей для печати своих текстов индивидуально¹⁷. «Серапионы» старались оспорить

¹¹ К. Федин — М. Горькому 13.02.1922 // Федин К. Собр. соч.: в 12 т. Т. 11. М., 1986. С. 29.

¹² К. Федин — И. Соколову-Микитову 07.12.1922 // Федин К. Собр. соч.: в 12 т. Т. 11. С. 34–35.

¹³ М. Слонимский — М. Горькому ок. 04.1923 // Лит. наследство. Т. 70. С. 386.

¹⁴ Н. Никитин — А. Воронскому между 10 и 15.04.1922 // Лит. наследство. Т. 93: Из истории советской литературы 1920–1930-х годов: новые материалы и исследования. М., 1983. С. 561.

¹⁵ К. Федин — М. Горькому 28.08.1922 // Лит. наследство. Т. 70. С. 467.

¹⁶ К. Федин — И. Соколову-Микитову 07.12.1922 // Лит. наследство. Т. 70. С. 37.

¹⁷ Шкловский В. Б. Серапионовы братья // Книжный угол. 1922. № 7. С. 19.

это подозрение: по мере развития нэпа и возможности печататься по отдельности они почувствовали себя только более «спящими», а литературные успехи каждого из участников мотивировали других на еще больший труд¹⁸.

Таким образом, фраза «писать очень трудно» имела в одном из значений положительные коннотации. Единство «серапионов» и товарищеское соперничество между ними делало литературу занятием особенно ответственным, соревновательным, героическим, поэтому превращало письмо в «трудное»¹⁹. Молодые литераторы играли словами: если «трудность» имеет негативные коннотации, то полученный в результате преодоления всяческих трудностей готовый текст («труд»), а также сам процесс борьбы за качественный результат — однозначно положительны.

Однако именно такое соревновательное, коллективное и амбициозное отношение к писательскому труду сложно было поддерживать. «Серапионы» считали свою работу важной и необходимой, но сталкивались с тем, что она невысоко оплачивается, ее сложно опубликовать из-за цензуры, а в середине 1920-х гг. авторы группы вышли из фавора критики и столкнулись с сильным политическим давлением. За пределами «братства» кажущаяся очевидной ценность творческой работы не выдерживала сравнения с пролетарским трудом, который приобретал в официальном дискурсе все большую символическую ценность, а значит, в перспективе и экономическую. «Серапионам» казалось, что их работа неполноценна, девальвирована.

Можно осторожно предположить, что писатели чувствовали *отчуждение* своего труда. Тексты не приносили весомой прибыли, но использовались критиками для дискредитации их авторов. Действия, позволяющие *быть писателем* (Б. Эйхенбаум), не сводились к тому, *как писать*; общественно полезная деятельность поглощала нужные для творческой работы ресурсы. Чем старше и опытнее становились писатели, тем чаще в их письмах появлялись жалобы на трудности, которые они предполагали решить с помощью поиска «других воз-

¹⁸ Л. Лунц — М. Горькому 22.09.1922 // Неизвестный Горький (к 125-летию со дня рождения). М., 1994. С. 142.

¹⁹ Там же; К. Федин — М. Горькому 28.08.1922 // Неизвестный Горький. С. 468; М. Слономовский — М. Горькому ок. 04.1923 // Неизвестный Горький; «Серапионы братья» — Л. Лунцу 10.1923 // Новый журнал. 1966. Кн. 82. С. 171.

можностей»²⁰. Это означало либо уход в идеологическую и административную работу, либо попытки изменить представления общества о ценности интеллектуальной деятельности. В интерпретации «братьев», необходимо было «чем-нибудь “окупить” свое физическое существование», но труд писателя не был «признан годной для этой цели валютой»²¹ даже после того, как в нем «ничего не осталось настоящего» из-за многочисленных переработок²². Воодушевленные революцией и готовые на износ трудиться ради «следующего поколения», молодые авторы не могли вписать в свою идеологическую картину эксплуатацию литературного труда²³.

Ответ на это противоречие был направлен не только вовне, но и внутрь, от «брата» к «брату». «Серапионы» унаследовали от своих литературных предшественников²⁴ идею самоотверженного служения высокому искусству и элементы организации религиозных сообществ — прежде всего взаимный надзор за соблюдением нравственности. Совершенствование художественного стиля было синонимично духовному самосовершенствованию. В 1923 г. Слонимский и Федин одновременно описывали литературу как очистительную практику, в которой надо «оградить свою душу, сознание, сердце» от влияния «школ, теорий, приемов, наконец — живых людей»²⁵, а также

²⁰ И. Груздев — М. Горькому 12.08.1925 // Переписка А. М. Горького с И.А. Груздевым. М., 1966. С. 20.

²¹ К. Федин — М. Горькому 19.02.1925 // Лит. наследство. Т. 70. С. 490.

²² К. Федин — М. Зощенко 10.02.1925 // «Серапионовы братья» в собраниях Пушкинского Дома. Материалы. Исследования. Публикации / авт.-сост. Т. А. Кукушкина, Е. Р. Обатнина. СПб., 1998. С. 159.

²³ Показательный случай этого осознания — поведение «серапионов» во время «дела Пильняка и Замятина» и их рефлексия по этому поводу. Описание см. в: Переписка К. А. Федина и Е. И. и Л. Н. Замятиных / вступ. ст., подгот. текста, комм. Л. Ю. Коноваловой // Константин Федин и его современники. Из литературного наследия XX века. Кн. 1. М., 2016. С. 67–96.

²⁴ Название отсылает к роману Э. Т. А. Гофмана «Серапионовы братья» (1819–1821), герои которого основали «орден» последователей отшельника Серапиона.

Сами «С. б.» обыгрывали религиозные истоки своей групповой организации; см. упоминание о раскольнической «серапионовщине»: К. Федин — Вс. Иванову 09.04.1941 // Константин Федин и его современники. М., 2018. С. 302.

²⁵ К. Федин — М. Горькому 07.04.1923 // Лит. наследство. Т. 70. С. 384.

«бороться с соблазнами»²⁶ — не писать плохо. Подобные высказывания распространялись не только на говорящего, но и на все сообщество, от лица которого он выступал. Так, идеологу группы Лунцу вручили воображаемый канат «для того, чтобы бить серапионов»²⁷: каждый из «братьев» был для другого карающим судьей на случай, если тот станет зависимым от чужих влияний посредственным²⁸ автором.

Итак, в рамках неформального сообщества «Серапионовы братья» заимствование религиозных практик самосовершенствования и взаимного надзора²⁹ сочеталось с послереволюционным пафосом коллективного труда равных. На фоне других сообществ этого периода «серапионов» выделяет парадоксальная попытка и сакрализировать, и «пролетаризировать» литературу: сохранить «архаический» образ писателя как слугителя искусства, но также представить интеллектуальный труд как коллективную, тяжелую, «производственную» работу. Ритуальное приветствие «Здравствуй, брат, писать очень трудно» отсылало к практике воображения себя революционным классом, которая возвращала литературе ценность на языке новой эпохи. Реконструкция идеологического смысла фразы объясняет, почему «серапионы» возвращались к ней в воспоминаниях — она была символом их легитимации как «революционных» писателей.

²⁶ М. Слонимский — М. Горькому 04.1923 // Лит. наследство. Т. 70. С. 386.

²⁷ «Серапионовы братья» — Л. Лунцу 10.1923 // Лит. наследство. Т. 70.

²⁸ Реконструкция того, что «С. б.» считали плохой литературой, выходит за рамки моей работы.

²⁹ О религиозных истоках «сознательности» большевистского коллектива см.: Хархордин О. В. Обличать и лицемерить: генеалогия российской личности. СПб., 2016.

Ольга Юдина

Санкт-Петербургский государственный академический
институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина
факультет теории и истории искусств
выпускница аспирантуры 2018 г.
olya.yu@gmail.com

**ДВОЙНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ
ДАВИДА СИКЕЙРОСА И ИОСИФА ГРИГУЛЕВИЧА:
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕКСИКАНСКОГО ИСКУССТВА
В СССР В 1960–80-Х ГГ.**

Художник-полковник и ученый-разведчик — эта дихотомия идентичностей Давида Альфара Сикейроса и Иосифа Ромуальдовича Григулевича, исторических фигур, без которых сегодня невозможно говорить о советской латиноамериканистике, стала наиболее отчетливой лишь в наше время. В то время как в советской России имидж мексиканца Сикейроса строился в первую очередь на образе борца и революционера, друга советского государства, отодвигая его достижения как художника вместе с «неудобоваримыми» для советского режима произведениями искусства на второй план, имя Григулевича ассоциировалось у современников лишь с автором бестселлеров о лидерах латиноамериканских революций, известным советским ученым и главой важного направления религиозных исследований Московского института этнографии АН СССР. О его «бондиане» в роли советского разведчика-нелегала, ликвидировавшего испанского коммуниста Андреу Нина (1938), разработавшего план покушения на Льва Троцкого в Мексике во главе с Сикейросом (1940), занимавшего пост костариканского посла в Ватикане и Югославии (1949–1952), и, наконец, готовившего операцию по убийству Иосипа Броза Тито, — об этой подпольной жизни советского биографа общественность узнала только спустя полвека.

В этой связи особый интерес представляют условия и метод формирования Григулевичем образа Сикейроса в советском обществе в рамках более широкого контекста популяризации мексиканского искусства и культуры латиноамериканского континента в Советском Союзе. После издания альбомов с репродукциями, выставок

в ведущих музеях страны, выступлений на конференциях, по радио и телевидению, массового проката художественного фильма Сергея Герасимова «Любить человека» (1972)¹ кульминацией признания Сикейроса в Стране Советов стало появление в популярной серии «Жизнь в искусстве» первой русскоязычной биографии художника, написанной Григулевичем². Ко времени издания этого труда в 1980 г. Григулевич уже приобрел славу ведущего специалиста по истории Латинской Америки, опубликовав порядка 30 трудов и став первым латиноамериканистом, добившимся избрания в ряды членов-корреспондентов Академии наук СССР в 1979 г.

Во многом благодаря публикациям Григулевича об истории Латинской Америки, апробированным партийным руководством, в конце 1940–50-х гг. в советской историографии был сконструирован официальный миф о мексиканской революции с целью принизить роль народных масс в революционном движении Мексики, свести ее к мелкобуржуазной революции, опровергнуть ее влияние на последующие революционные движения в странах Латинской Америки, чтобы взамен выдвинуть Октябрьскую революцию как наиболее значимую и влиятельную³. В период оттепели стали появляться более реалистичные прочтения мексиканской революции. В рамках этого дискурса и общего улучшения советско-мексиканских отношений в 1960–70-е гг. на территорию Советского Союза происходил импорт мексиканского мурализма⁴, как наиболее приближенного по форме и наполнению к соцреализму и суровому стилю. Среди пропагандистов мексиканского мурализма были первые лица государства. Так, Леонид Брежнев называет Сикейроса наряду с Диего Риверой

¹ В фильме показаны работы Диего Ривера и Альфаро Сикейроса, а также сам Альфаро Сикейрос.

² Григулевич И. П. Сикейрос. М., 1980.

³ Alperóvich M. La revolución mexicana en la interpretación soviética del periodo de la ‘Guerra Fría’ // Historia Mexicana. 1995. Vol. 44, N 4(176). P. 677–690.

⁴ От исп. «эль муро» — стена; такое название дали явлению возрождения монументальной живописи в Мексике. В свою очередь, мексиканских художников-монументалистов XX в. в иберо-американистике принято называть муралистами. См.: Brenner A. Idols behind Altars. New York, 1929; Charlot J. The Mexican Mural Renaissance, 1920–1925. New Haven, 1963; Rochfort D. Mexican Muralists: Orozco, Rivera, Siqueiros. San Francisco, 1998; Folgarait L. Mural Painting and Social Revolution in Mexico, 1920–1940: Art of the New Order. New York, 1998.

«выдающимся сыном мексиканского народа, всемирно известным художником»⁵.

С подачи партийного руководства посредством ВОКС⁶ в СССР стали осуществляться многочисленные визиты крупных мексиканских культурных и политических деятелей. В 1961 г. учреждается Институт Латинской Америки Академии наук СССР, в 1966 г. — Общество «СССР — Мексика», на территории Мексики продолжает действовать учрежденный еще ранее во время Второй мировой войны, в 1944 г., Мексикано-российский институт культурного обмена. Постепенно политическая повестка начала приносить соответствующие академические плоды — историки искусства, некоторые из которых были связаны с ВОКС⁷, активно принялись создавать советский нарратив о трех лидерах мексиканского мурализма — Ривере, Сикейросе и Хосе Клементе Ороско. Как позднее признавался А. Г. Костеневич, если Пикассо оставался запретной зоной, то мексиканцы были «безопасны» и привлекательны для искусствоведов, желавших изучить нечто, что отличалось от соцреализма или «разрешенных» классиков. Так, многие молодые аспиранты, как и крупные искусствоведы 1960-х гг., стали изучать «легитимизованных» мексиканцев — сперва основателей мурализма Сикейроса, Риверу и Ороско, а затем и более маргинального Руфино Тамайо⁸.

Результатом пропаганды мексиканского мурализма в СССР стало подражание советских монументалистов стилю мексиканских художников в монументальных мозаиках и росписях общественных зданий в 1960–70-х гг. Примечательно, что только один из художников был удостоен улицы в Ленинграде и танкера — Сикейрос.

Подобная популярность художника в Советском Союзе могла подтолкнуть Григулевича написание истории его жизни, в особенности учитывая их совместное прошлое. После череды биографий политических лидеров в серии «Жизнь замечательных людей» — Симона Боливара (1958), Франсиско Панчо Вилья (1962), Франсиско де Миранда (1965), Бенито Хуареса (1969), Эрнесто Че Гевары (1972), Сальвадора Альенды (1974), — написанных Григулевичем, автор решает рискнуть и выйти на малознакомую ему территорию

⁵ Правда. 1978. 17 мая.

⁶ Всесоюзное общество культурной связи с границей.

⁷ Например, Е. А. Козлова и В. Н. Кутейщикова.

⁸ Жадова Л. А. Монументальная живопись Мексики. М., 1965; Костеневич А. Г. Ороско. Л., 1969; Основат Л. Диего Ривера. М., 1969.

искусствоведения. В 1979–1980 гг. Григулевич пишет первую и пока еще единственную русскоязычную биографию Сикейроса, где делает попытки не только описать его жизнь, но и творческий метод. Таким образом, из-под пера Григулевича выходит очередное романтизированное жизнеописание революционного борца, многотысячный тираж которого⁹, как и предыдущие издания автора, повлиял на целое поколение советских молодых людей, имевших весьма смутные представления о заокеанских странах в условиях изоляции государства и малодоступности альтернативных источников информации. Начиная с 1990-х гг. эти труды подвергаются критике за чрезмерную субъективность автора, богатую фантазию и вольное обхождение с фактами¹⁰.

Имея за плечами опыт «фабрикации знаний»¹¹, Григулевич в действительности вольно трактует биографический портрет Сикейроса. Вынужденный скрывать свое агентурное прошлое, он обходит стороной важный сюжет из жизни Сикейроса — покушение на Троцкого, благодаря которому Сикейрос и Григулевич стали соратниками¹². Множество высказываний художника имеют ссылки на личный архив

⁹ Суммарный тираж книг Григулевича (под псевдонимом «Лаврецкий»), изданных только в серии «Жизнь замечательных людей», составляет 980 тыс. экземпляров.

¹⁰ *Znamenski A.* Joseph Grigulevich: A Tale of Identity, Soviet Espionage, and Storytelling // *The Soviet and Post-Soviet Review*. 2017. Vol. 44, N 3. P. 22; *Richardson W.* “Meksikanistika” — Five Decades of Soviet Historical Writings on Mexico // *Mexican Studies/Estudios Mexicanos*. 1992. Vol. 8, N 1. P. 62.

¹¹ См.: *Znamenski A.* Joseph Grigulevich: A Tale of Identity, Soviet Espionage, and Storytelling. P. 13; *Никандров Н.* Сквозь призму времени. Григулевич в Испании: встреча с НКВД // *Латинская Америка*. 2004. № 2. С. 61–62. По заданию советских спецслужб в Испании Григулевич стал соавтором сборника сфабрикованных документов — доказательств коллаборации Нина и его последователей с фашистами, якобы собранных вымышленным автором Максом Ригером (*Rieger M.* *Espionaje en España*. Madrid, 1938). Сборник был издан с целью дискредитировать и оправдать ликвидацию Нина.

¹² Григулевич не включает в биографию Сикейроса важную страницу, соединившую их судьбы. Именно Григулевич привлек Сикейроса в террористическую группу и провел подготовку этой группы к нападению на дом в предместье Мехико Койоакане, в котором жил Троцкий. При этом Григулевич обращается к мемуарам художника, опубликованным ранее на испанском, где Сикейрос подробно описывает свою версию этой операции.

Григулевича, доступ к которому, согласно закону об авторском и исключительном праве, все еще ограничен. Пытаясь дать безоговорочно «прогрессивный» образ, автор цензурирует наиболее конфликтные страницы из истории сложных взаимоотношений Сикейроса с Мексиканской компартией¹³. Более того, Григулевич осторожно следует ранее намеченному курсу репрезентации творчества мастера, выверенному предыдущими советскими искусствоведами¹⁴. Так, биограф пропускает многие из произведений художника-экспериментатора, у которого было свое, отличавшееся от советского видение мексиканской революции и социалистического искусства, отразившееся во множестве станковых произведений, в монументальных настенных циклах, а также в газетных иллюстрациях коммунистических изданий в странах Северной, Центральной и Южной Америки. Также автор замалчивает имя американского художника Джексона Поллока, одного из ключевых участников экспериментальной мастерской Сикейроса в Нью-Йорке. Отдельного внимания заслуживает вопрос подхода Григулевича к выбору, описанию и оценке произведений мастера на религиозную тематику. Автор с отработанной ранее позицией атеизма и исторического материализма¹⁵, перенося свои убеждения на объект исследования, существенно упрощает мировоззрение художника и его отношение к религии. На самом деле данный аспект творчества муралиста видится не столь однозначным. Ведь не случайно Сикейрос согласился исполнить картину по заказу Ватикана, где она выставляется и сегодня.

Не менее существенно и то, как этот текст был принят в СССР и за рубежом. Восприятие стремительной карьеры Григулевича как выдающегося советского ученого-гуманитария было неоднозначным, прежде всего в связи с поляризованной политической обстановкой в мире во время холодной войны. Если с одной стороны

¹³ Сикейрос дважды покидал Мексиканскую компартию.

¹⁴ *Жадова Л. А.* Монументальная живопись Мексики; *Каретникова И. А.* Д. А. Сикейрос. М., 1966; Давид Альфаро Сикейрос: Альбом / сост. и вступ. ст. Т. С. Ворониной. М., 1976.

¹⁵ Пребывая на посту посла в Ватикане, Григулевич сумел получить порядка 13 личных аудиенций с папой римским, а также доступ в библиотеки Ватикана. Благодаря этому опыту и на основе отправляемых им в Москву отчетов, в 1957 г. была издана его первая научная монография «Ватикан. Религия, финансы и политика». Впоследствии широкую известность получила его книга «История инквизиции» (1970).

дружественные Советам государства высоко отмечали заслуги советского академика¹⁶, поддерживая массовое распространение переводов его трудов, то с другого «берега» сыпались упреки в стереотипизации, попытке вписать предмет исследования в прокрустово ложе марксизма, однако порой и отмечались свежие интерпретации старого материала на основе применения методов диалектического материализма¹⁷.

В постсоветскую эпоху появляются статьи¹⁸ и биографии¹⁹ самого Григулевича, где впервые раскрывается другая сторона его богатой на события жизни «суперагента Сталина», публикуются слова о нем председателя КГБ Юрия Андропова: «Григулевич — вершина советской разведки, достичь которой способны лишь те, кто отмечен и избран Богом»²⁰. Эти биографии основаны на свидетельствах самого Григулевича и документах архива Службы внешней разведки, куда имели и до сих имеют доступ только избранные²¹. Практически одновременно с этими героизирующими портретами Григулевича, появляются критические статьи и рецензии на его научные труды, как правило, за авторством людей, которые его лично знали²². В этих

¹⁶ Григулевич был избран в члены-корреспонденты Академии истории Венесуэлы, награжден венесуэльским орденом Франциско Миранды, золотой медалью перуанского Института проблем человека, высшими кубинскими орденами и медалями.

¹⁷ *Richardson W.* “Meksikanistika” — Five Decades of Soviet Historical Writings on Mexico. P. 78; *Alperóvich M.* La revolución mexicana en la interpretación soviética del periodo de la ‘Guerra Fría’. P. 677–690.

¹⁸ *Бай Е.* Шпион по особым поручениям Кремля // Известия. 1993. 5 мая. С. 6.

¹⁹ *Чиков В. М.* Наш человек в Ватикане, или Посол чужой страны. М., 2009; *Папоров Ю. Н.* Академик нелегальных наук. СПб., 2004; *Никандров Н.* Иосиф Григулевич. Разведчик, «которому везло». М., 2005.

²⁰ *Чиков В. М.* Наш человек в Ватикане, или Посол чужой страны. С. 5.

²¹ Действующие или бывшие служащие органов государственной безопасности: Н. С. Леонов, В. М. Чиков, Ю. Н. Папоров, И. Г. Атаманенко, или близкие к СВР РФ люди, например Н. М. Долгополов. Исключением стал академик АН СССР А. А. Фурсенко.

²² *Znamenski A.* Joseph Grigulevich: A Tale of Identity, Soviet Espionage, and Storytelling. P. 1–28; *Alperóvich M.* La revolución mexicana en la interpretación soviética del periodo de la ‘Guerra Fría’. P. 677–690; *Хейфец В. Л., Хейфец Л. С.* Человек, обладающий политическими способностями. Штрихи к биографии И. Р. Григулевича // Исторический архив. 2012. № 1. С. 63–79.

статьях ставится под сомнение столь стремительная академическая карьера латиноамериканиста, все его труды подвергаются критике и клеймятся «компиляторскими» и «поверхностными».

Сегодня как печальное следствие идеологического искажения биографии Сикейроса, образцом которой стал труд Григулевича, многомерное искусство мексиканского мастера выпало за рамки научных интересов постсоветского поколения российских исследователей. В то же время за рубежом активно ведутся исследовательские работы по ребрендингу художника. Так, неизвестные ранее многочисленные пейзажи и абстрактные эксперименты Сикейроса, «очищенные» от каких-либо лобовых идеологических лозунгов, извлекаются из хранилищ для крупных выставок и раскрывают малоизвестные аспекты творчества муралиста, которые в советском искусствоведении замалчивались как не соответствующие «точке зрения прогрессивных сил». Представляется, что сегодня, благодаря доступу к ранее закрытым документам из российских и мексиканских архивов и существующей обширной международной библиографии работ о Сикейросе, наступило время для написания новой версии жизнеописания художника.

**КОНСТРУИРУЯ «СОВЕТСКОЕ»?
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ,
ПОВСЕДНЕВНЫЕ ПРАКТИКИ,
НОВЫЕ ИДЕНТИЧНОСТИ**
материалы тринадцатой международной конференции
молодых ученых
26–27 апреля 2019 года, Санкт-Петербург

Корректор — В. В. Дементьева

Издательство Европейского университета
в Санкт-Петербурге
191187, Санкт-Петербург
ул. Гагаринская, 6/1А
тел.: +7 812 386 7627
факс: +7 812 386 7639
e-mail: books@eu.spb.ru
Интернет-магазин Издательства:
WWW.EUPRESS.RU

Подписано в печать 10.04.19
Формат 60 × 88 ¹/₁₆. Тираж 250 экз.

Отпечатано в типографии
ООО «Политехника-Сервис»
190005, Санкт-Петербург, Измайловский пр., 18-д